

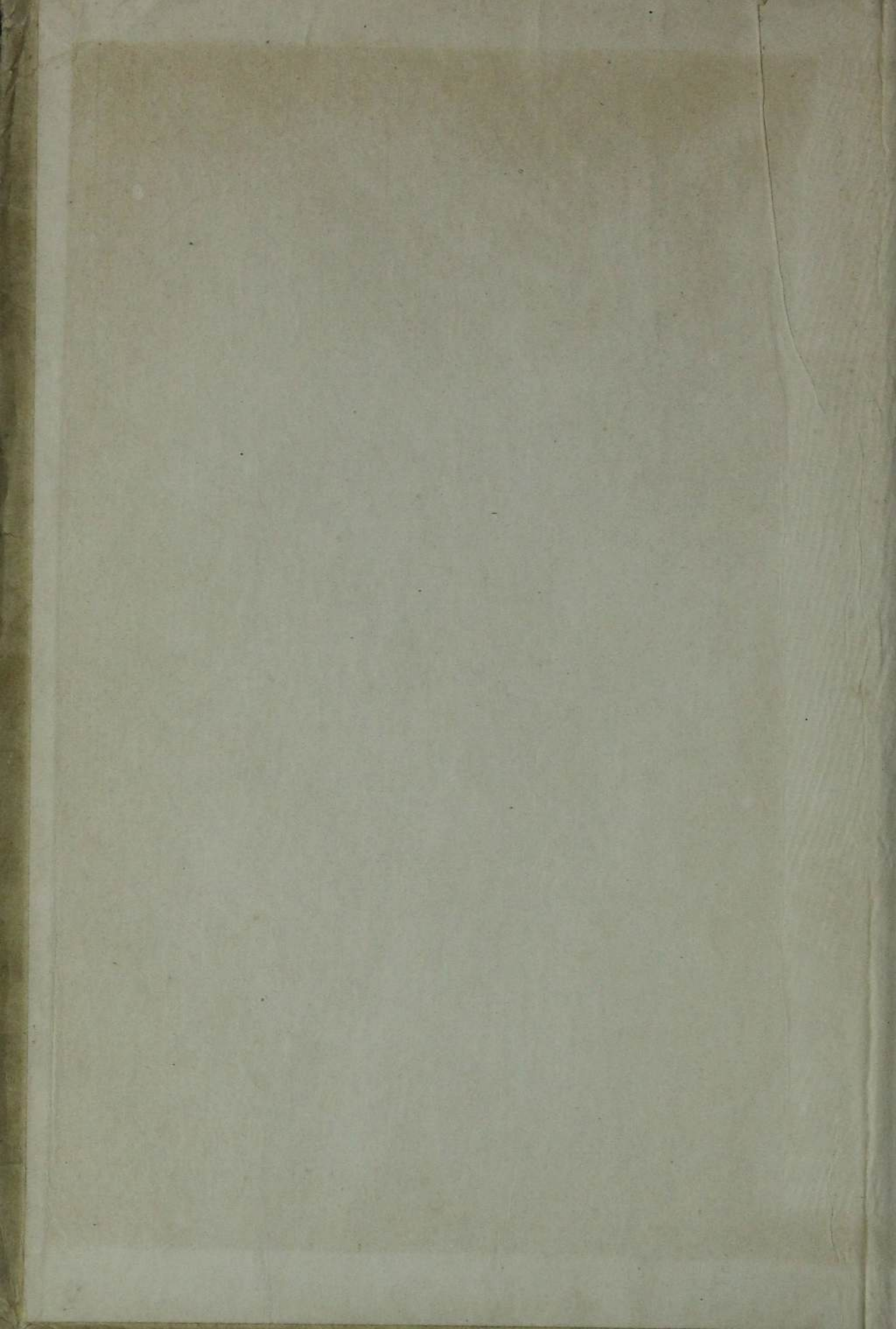
АКАДЕМИЯ НАУК СССР

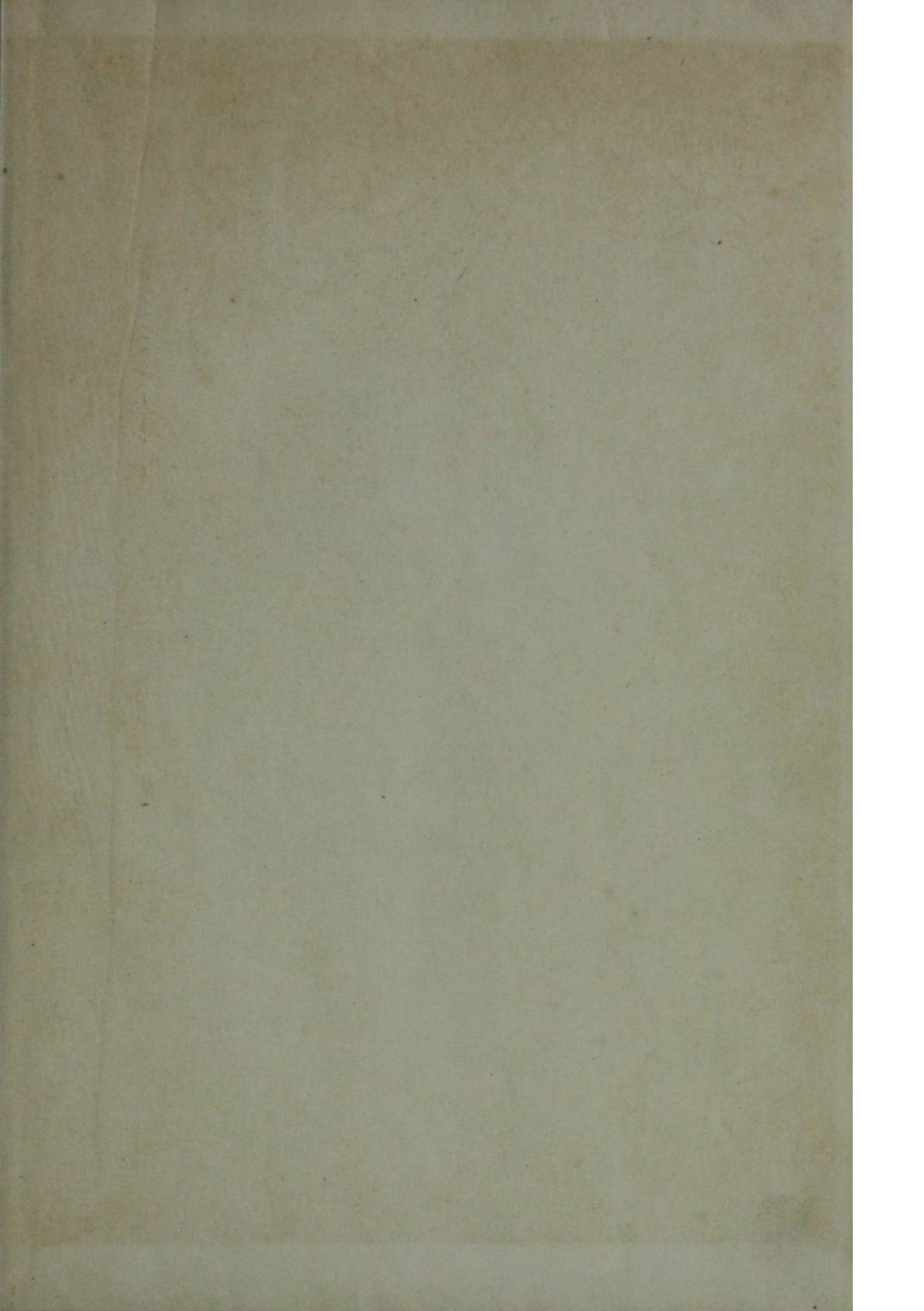
ЛУСИНЬ

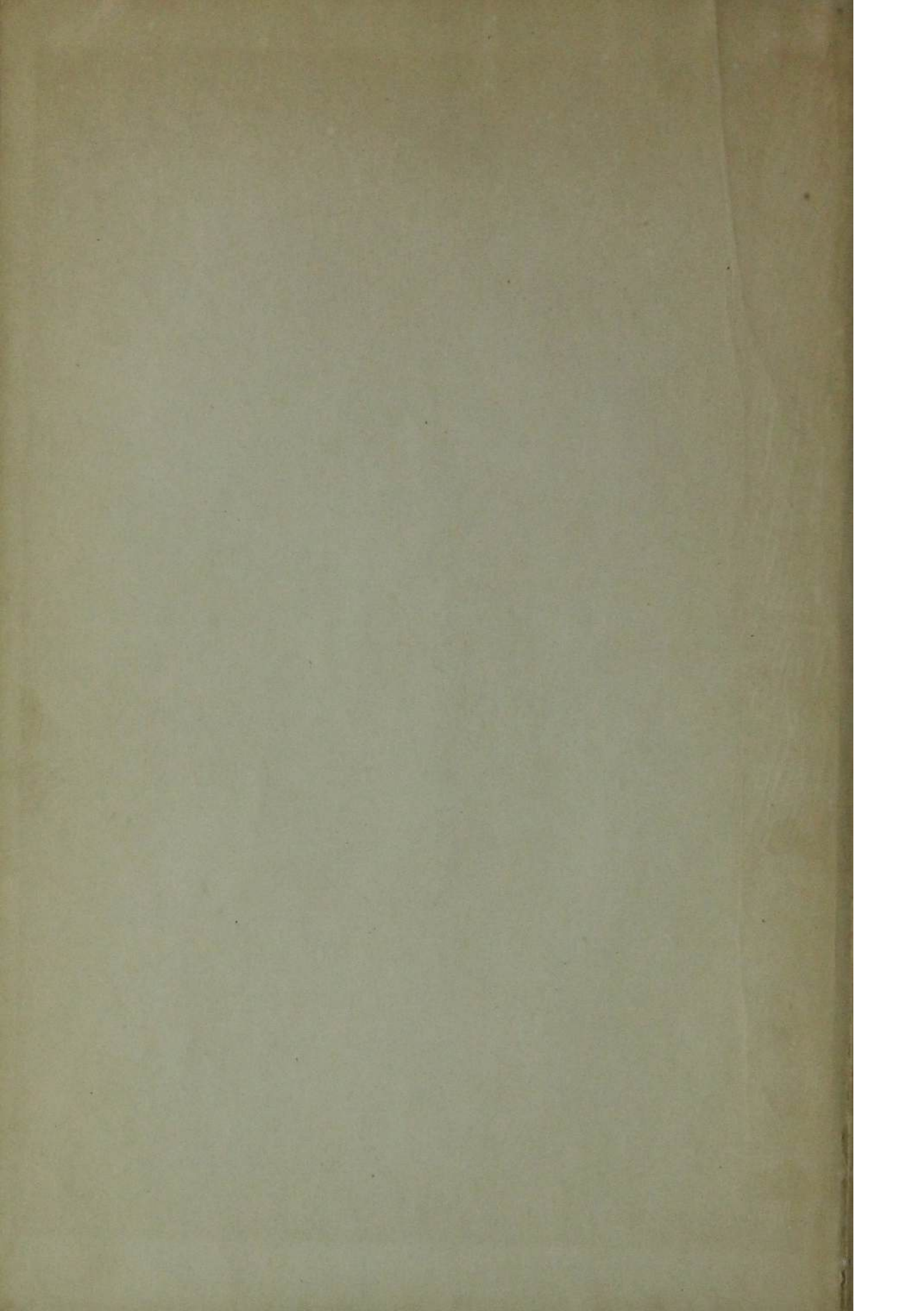
1881 - 1936

紀念魯迅

ИЗДАТЕЛЬСТВО
АКАДЕМИИ НАУК СССР







23.3/5

蘇聯科學院
東方文化研究所

魯迅

1881—1936

紀念
中國現代偉大的文豪
論文譯文集

1938

蘇聯科學院出版部發行
莫斯科—列寧格勒

83.3(5Кит)
182
АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

ЛУ СИНЬ

1881—1936

СБОРНИК СТАТЕЙ И ПЕРЕВОДОВ
ПОСВЯЩЕННЫЙ
ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО ПИСАТЕЛЯ
СОВРЕМЕННОГО КИТАЯ

ТИПОГРАФИЯ АКАДЕМИИ НАУК СССР

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

Контролер № 3

При обнаружении дефекта в книге
Заводоуправление просит прислать
данную книгу с приложением этого
талона по адресу:

Ленинград, 34. В. О., 9 линия, 12.

Заводоуправление

ДАР
Л. ПОЛЕВОГО

1938

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА • ЛЕНИНГРАД

Printed in Soviet Union

ГУМАНИТАРНЫЙ
ЦЕНТР
Г. ИРКУТСК

76328



Ответственный редактор ученый секретарь Института востоковедения
АН СССР Муратов Х. И.

Технический редактор О. Г. Давидович

Корректор П. С. Яснецкий

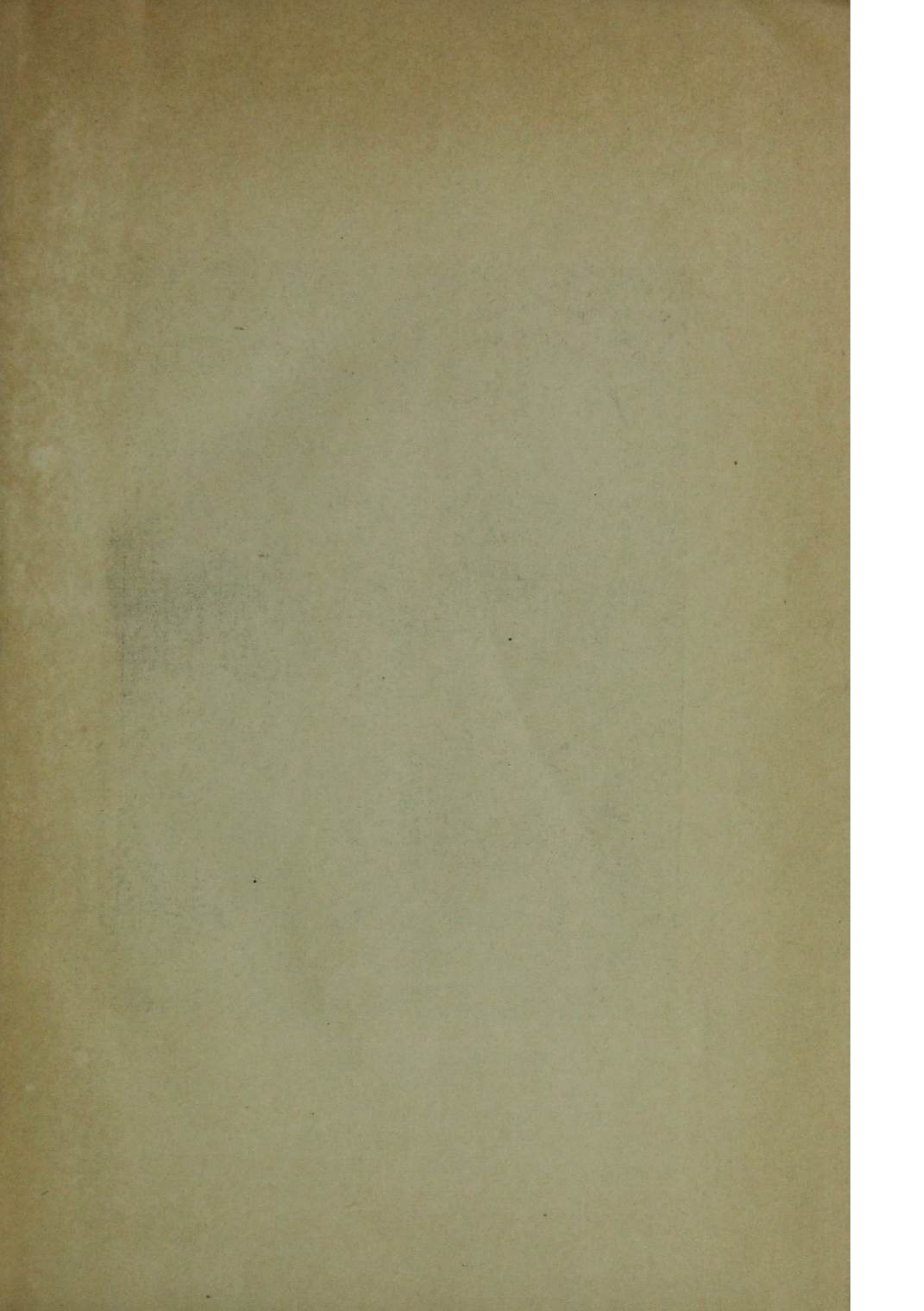
Обложка работы А. А. Ушина

Сдано в набор 14 мая 1937 г. — Подписано к печати 20 февраля 1938 г.
184 стр.

Формат бум. 62×94 см. — 11¹/₂ печ. л. + ¹/₈ печ. л. вкл. — 12 уч.-авт. л. —
37410 тип. зн. в п. л. Тираж 10225.

Ленгорлит № 868. — РИСО № 325. — АНИ № 136. — Заказ № 897

Типография Академии Наук СССР. Ленинград, В. О., 9 линия, 12





ЛУ СИНЬ

(ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ)

Советский Союз — социалистическое отечество всего трудящегося человечества — является примером братского сосуществования и сотрудничества многих национальностей, создающих на основе ленинско-сталинской национальной политики и под руководством великой партии большевиков свою культуру, национальную по форме и социалистическую по содержанию.

Народы Советского Союза всегда относились и относятся с чувством глубочайшего уважения, сочувствия и братской солидарности к многомиллионному китайскому народу, отважно борющемуся против японских фашистских захватчиков и бесстрашно отстаивающему с оружием в руках, ценою бесчисленных жертв, национальную независимость своей родины.

Величие прошлой культуры Китая, все лучшее и прогрессивное, что китайский народ творил в прошлом и творит в настоящем, вызывают в советском многонациональном народе чувство искреннего восхищения, и всё, связанное с Китаем, с его историей, с его настоящей борьбой против японо-фашистских насильников, встречает глубокий интерес в широких массах трудящихся Советского Союза, стоящего в авангарде борьбы с темными силами фашистского вандализма и фашистской реакции.

Вполне естественно, что преждевременная смерть великого писателя современного Китая Лу Синя, этого подлинного гуманиста, лучшего друга Советского Союза, друга трудового народа и коммунистической партии Китая, непримиримого страстного врага фашизма, бесстрашного борца за лучшее будущее своей родины, вызвала в сердцах народов нашей великой страны социализма чувство искреннего горя и глубокого сочувствия

китайскому народу, потерявшему своего великого соотечественника.

Лу Синь (Чжоу Шу-жэнь) был одним из лучших представителей китайского народа, отдавшим всю силу своего блестящего таланта героическому делу борьбы за национальную независимость Китая. Его жизненный путь — это путь революционера-мыслителя, писателя-гуманиста, неустанно пропагандировавшего в художественном слове идеи борьбы за независимый, свободный Китай, борьбы против японского империализма и фашизма. Его жизненный путь — это путь от мелкобуржуазного демократизма, индивидуализма, либерализма к революции, к пролетариату, к активному участию в национально-освободительной борьбе. В автобиографии, опубликованной в журнале „Литературные нити“ — „Юй сы“, писатель так обрисовал этот путь:

„Я родился в 1881 г. в провинции Чжэ-цзян, в городе Шао-син, в семье Чжоу. Мой отец был интеллигентом, мать, по фамилии Лу, крестьянкой, самоучкой. Мне говорили, что в мои детские годы наша семья владела 40—50 «му» земли, и, следовательно, жизнь была сносной.

„Однако, когда мне исполнилось тринадцать лет, в нашей семье случились большие перемены, и мы почти совершенно разорились.

„Меня отдали в семью одного из родственников, и там, живя нахлебником, мне часто приходилось выслушивать упреки, и часто меня называли нищим. Я решил вернуться домой. В это время мой отец тяжело заболел и через три года умер. У меня не было даже малейшей возможности учиться, так как платить за учение было нечем. Мать наскребла мне гроши на проезд и посоветовала уехать и найти какую-нибудь бесплатную школу, так как я ни за что не хотел идти по пути, по которому так часто идут дети разорившихся интеллигентов на моей родине, — подручными в торговле или переписчиками.

„В это время мне было восемнадцать лет. Я добрался до Нанкина и, выдержав экзамен, поступил в Мореходную школу, на механическое отделение, однако через полгода ушел и поступил в Горное училище, окончив которое, был послан в Японию для продолжения образования. Когда я закончил подготовительные курсы в Токио, я уже принял решение изучать медицину. Я поступил в Медицинский институт в Сендай, где проучился

два года. Как раз в это время шла русско-японская война. Я тогда остро почувствовал бесправие моей родины и думал о необходимости поднять культурный уровень, создать новую литературу, которая бы пробудила мой народ.

„Бросив учение, я отправился в Токио и там вместе с друзьями наметил план работы, однако все эти планы постепенно разрушились.

„Тогда я решил отправиться в Германию, но и здесь потерпел неудачу. В конце концов я вернулся в Китай, так как мать просила моей помощи. В это время мне было двадцать девять лет.

„По возвращении на родину, я поступил преподавателем химии в Педагогический техникум в провинции Чжэ-цзян, в городе Хан-чжоу, но на следующий год ушел и переехал к себе в Шао-син на должность инспектора средней школы. Еще через год я ушел и из этой школы, хотел, было, стать переводчиком при одном издательстве, но в результате отказался и от этого.

„Как раз случилась революция 1911 г., и с ее победой я сделался директором Педагогического института в Шао-сине. После основания революционного правительства в Нанкине министр просвещения пригласил меня на службу в министерство, и я переехал в Пекин, где и продолжаю жить до настоящего времени. За последние несколько лет я работаю в Пекинском государственном университете, в Педагогическом институте и в Женском педагогическом институте, где читаю лекции по национальной литературе. Еще во время моего учения в Японии я помещал кое-какие произведения и статьи в журналах, однако литературной работой занялся по-настоящему только с 1918 г., по совету моего друга проф. Цянь Сюань-туна, поместив свои рассказы в журнале «Новая молодежь».

„Именно тогда я начал подписываться своим литературным псевдонимом «Лу Синь» — по имени моей матери, однако неоднократно выступал и под другими именами“.

Вся жизнь Лу Синя была неразрывно связана с делом национально-освободительной борьбы китайского народа. Вся его жизнь и деятельность были направлены к одной цели — подъему самосознания китайского народа в его борьбе за свое национальное и социальное освобождение. И по этому пути Лу Синь всегда твердо и смело шел вперед.

В 1925 г. Лу Синь, заподозренный в участии в студенческих волнениях, вспыхнувших в пекинских высших учебных заведениях, отстраняется по распоряжению министра просвещения от должности профессора китайской литературы в Национальном университете и Женском педагогическом институте. В 1926 г. он под угрозой ареста за революционные убеждения покидает Пекин и едет в порт Амой (пров. Фу-цзянь), где ведет преподавание в Амойском университете. Вскоре и здесь революционно настроенный профессор подвергся гонениям со стороны университетской администрации и был принужден покинуть университет. В Кантоне, куда приезжает Лу Синь, завоевавший к этому времени широкую популярность „властителя дум китайской молодежи“, талантливого публициста и писателя, он находит восторженный прием со стороны кантонской общественности и получает назначение на пост декана литературного факультета в университете Сун Ят-сена. В 1927 г. Лу Синь переезжает в Шанхай, где попадает в атмосферу литературной борьбы, отражавшей в себе борьбу различных классовых группировок в среде китайской интеллигенции. Революционные и прогрессивные элементы этой интеллигенции, проникнутые идеей национального освобождения, идеей борьбы с империализмом и феодализмом, испытывая глубокое влияние развивающегося советского движения в Китае, выступают за создание подлинно революционной китайской литературы (напр. левая группа шанхайских писателей из группы „Творчество“ — Чэн Фан-у, Го Мо-жо, Мао Дунь и др.). Период литературных дискуссий — так наз. „Литературная война“, длившийся более двух лет (1928—1929 гг.), в итоге привел к победе революционных писателей и организации „Левой лиги“. Лу Синь, организовавший в Шанхае вместе с писателем Юй Да-фу журнал „Поток“ (奔流), был в первых рядах широкого движения за революционную литературу, и, когда в 1930 г. организовалась Лига левых писателей, он единодушно был избран председателем этой лиги. Революционная литература, отражавшая в себе идеи национально-революционного и антиимпериалистического движения и борьбы с фашизмом, нашла в Лу Сине своего деятельного участника. На страницах китайских журналов писатель требует сближения с Советским Союзом и активной борьбы всех прогрессивных элементов человечества против фашистского террора.

Уже незадолго до своей смерти, получив от китайских агентов японского фашизма — троцкистов письмо, полное самой наглой и бесстыдной клеветы на политику единого антияпонского фронта, Лу Синь публикует в журнале 現實文學 ответ, в котором он разоблачал троцкистских бандитов, как явных агентов японского фашизма, на деньги японских империалистов, издающих свою „литературу“ и продающих интересы своей страны и своего народа.

Литературная публицистическая и научная деятельность Лу Синя была чрезвычайно многосторонней; вряд ли можно найти какой-либо крупный вопрос в жизни современного Китая, которого не коснулись бы глубокий ум и острое талантливое перо этого публициста и художника. Интересно отметить, что уже первый рассказ Лу Синя был напечатан им в 1918 г. в прогрессивном журнале „Новая молодежь“ (新青年), который объединял в это время наиболее радикальные элементы китайской интеллигенции, требовавшие обновления Китая; в этом журнале публиковались статьи видных деятелей „литературной революции“ — Ху Ши, Цянь Сюань-туна, Лю Фу и др. Уже первые рассказы Лу Синя, благодаря злободневности поставленных в них вопросов и их художественной силе, произвели в Китае огромное впечатление и явились прекрасным прологом того творческого пути, который был пройден писателем и который поставил его в первую шеренгу борцов за национальную независимость Китая, борцов против японского и всякого иного фашизма.

Литературная деятельность Лу Синя была исключительно многосторонней; он выступал как художник слова, как критик и ученый литературовед, как талантливый переводчик и, наконец, как революционный публицист.

Художественные произведения Лу Синя — рассказы, повести, стихотворения, новеллы, создавшие ему литературную славу и широкую популярность, — публиковались как в периодических изданиях, так и выходили отдельными сборниками, из которых наибольший интерес представляют сборники „Клич“ (吶喊) и „Блуждания“ (彷徨). В сборнике „Клич“ мы находим следующие произведения, написанные за период 1918—1922 г.:

1. 狂人日記 — „Дневник сумасшедшего“.
2. 孔乙己 — „Кун И-цзи“.
3. 藥 — „Лекарство“.

4. 明天 — „Завтра“.
5. 一件小事 — „Незначительный случай“.
6. 頭髮的故事 — „История с волосами“.
7. 風波 — „Буря“.
8. 故鄉 — „Родина“.
- +¹ 9. 阿Q正傳 — „Подлинная история А-кея“, существуют русский, английский, французский и японский переводы.
- + 10. 端午節 — „Весенний праздник“.
- + 11. 白光 — „Блеск“.
- + 12. 兔和貓 — „Заяц и кошка“.
13. 鴨的喜劇 — „Утиная комедия“.
14. 戲社 — „Деревенский театр“.
15. 不周山 — „Гора Бу-чжоу“.

В сборнике „Блуждания“ помещены следующие произведения:

- + 1. 祝福 — „Мольба о счастье“.
2. 在酒樓上 — „В таверне“.
3. 幸福的家庭 — „Счастливая семья“.
4. 肥皂 — „Мыло“.
5. 長明燈 — „Неугасимая лампада“.
- + 6. 示衆 — „На показ толпе“.
7. 高老夫子 — „Почтенный Гао“.
8. 狐獨者 — „Одинокий“.
9. 傷逝 — „Погубленный“.
10. 弟兄 — „Братья“.
11. 離婚 — „Развод“.

Кроме того, необходимо отметить сборник „Дикie травы“ (野草), в который вошли эскизы и стихотворения в прозе, печатавшиеся, начиная с 1924 г., в журнале „Юй Сы“, сборники мелких произведений: „Южные мелодии и северные напевы“ (南腔北調), „Цветная кайма“ (花邊文學), „Свободные беседы о любви“ (准風月談) и, наконец, сборник новелл

¹ Знаком + отмечены произведения, впервые или вновь переведенные и помещенные в данном сборнике.

на темы древних легенд „Старинные предания по-новому“ (故事新編). В 1936 г. в Шанхае был издан „Сборник избранных произведений“ Лу Синя, куда писатель включил лучшие по его мнению произведения из вышеуказанных сборников.

Художественное творчество Лу Синя пронизано глубочайшим реализмом, воспроизводящим в обобщенных, ярких образах жизнь современного Китая; талантливая зарисовка людей и событий, блестящее бытописание, особенно китайской деревни, — характерные черты его рассказов и повестей. Многие из созданных Лу Синем образов стали нарицательными; ярким примером является образ А-Кея, символизирующий старую китайскую деревню с миллионами голодных, забитых батраков. Китайская критика назвала Лу Синя первым современным писателем реалистом, глубоко осветившим тему китайской деревни. В своем изображении китайской деревни великий писатель, питая ненависть к феодальным элементам, яростно бичевал всех деревенских эксплуататоров. Трудовой народ, китайский крестьянин, батрак, рабочий находили в писателе глубокое сочувствие и изображались им в прекрасных, волнующих, привлекательных образах. Критик Чжан Дин-хуан в статье о творчестве Лу Синя, опубликованной в журнале „Современная критика“ в 1925 г., писал: „... Лу Синь нападает на китайцев, высмеивает их, но сам он — типичный китаец и все его произведения глубоко национальны. О нем можно сказать, что он единственный у нас бытописатель деревни. На послереволюционном поле нашей литературы он — первый, подлинный писатель, открывающий новую эру...“. „Правдивая история А-Кея“, будучи переведена на французский язык (а также на японский, английский, русский и эсперанто), получила восторженный отзыв Ромэн Роллана.

Лу Синь сыграл громадную роль в деле создания нового литературного языка на основе живой китайской речи. По сути дела он был первым подлинным художником нового стиля, он первый воплотил в своих художественных произведениях принципы новой демократической литературы. Уже в последние годы своей жизни Лу Синь выступил с целым рядом статей, в которых он требовал дальнейшей демократизации китайского языка и горячо поддерживал движение за латинизацию китайской письменности.

Язык произведений самого Лу Синя прост, популярен, ярок. Лу Синь был подлинным художником-революционером, прямым, искренним, страстно любившим жизнь, решительно выступавшим против всех угнетателей и пламенно пропагандировавшим идеи подлинного гуманизма.

В статье „Революционная литература“ (革命文學) Лу Синь писал:

„Я считаю, что основной вопрос заключается в авторе; необходимо, чтобы он был революционером. Если он является таковым в действительности, то совершенно безразлично, о чем он пишет, в какой форме он пишет, — все его творчество будет революционной литературой. Ведь то, что выходит из источника, — всегда бывает водой, то, что вытекает из вен, — всегда бывает кровью“.

Чрезвычайно велика роль Лу Синя и как литературного критика. Знаток китайской литературы, философии, искусства и публицистики, он издал ряд книг, посвященных вопросам литературной критики, философии, истории и искусства, которые, конечно, не охватили полностью всего написанного им в области публицистики.

Эти книги следующие:

1. „Могильник“ (墳) — собрание двадцати четырех статей по вопросам философии, истории и педагогики, написанных им за период 1907—1925 гг.
2. „Теплый ветер“ (熱風) — сборник из двадцати семи мелких статей, составленных в течение 1918—1924 гг.
- 3—4. Два сборника под общим заглавием „Цветной покров“ (華蓋集), состоящие из пятидесяти двух статей публицистического жанра, написанных за 1925—1926 гг.
5. „Плоды давнишних достижений“ (朝華夕拾) — сборник, вышедший в 1927 г. и содержащий десять статей автобиографического характера, затрагивающих период жизни Лу Синя от юности до поездки в Японию.
6. „Вот и все“ (而已) — собрание мелких набросков, вышедшее в 1927 г.
7. „Три бездельника“ (三閒) — собрание статей по литературным вопросам, написанных за период 1927—1929 гг., в том числе ряд статей дискуссионного характера.

Как критик и боевой публицист, Лу Синь всегда был в первых рядах передовой китайской интеллигенции и смело выступал в защиту демократических свобод и национальной независимости Китая. Писатель пламенно ненавидел заклятых врагов китайского народа — империалистов, феодалов, реакционеров, изменников и предателей родины. Самого главного и презренного врага своей родины он видел в японском империализме, борьбе против которого он посвятил последний период своей жизни, идя, таким образом, нога в ногу со всем народом, поднявшим знамя священной войны за независимость Китая. Лу Синь принимал участие в „Ассоциации вооруженной самозащиты китайского народа“, он стал деятельным участником антияпонского фронта, был участником антивоенной и антифашистской конференции в Шанхае в 1933 г., руководил множеством других организаций.

Много внимания в своей публицистической деятельности Лу Синь уделял вопросам пропаганды культуры и науки. Так, в статье „История человечества“ он пишет о дарвинизме и Геккеле, в статье „Культура“ знакомит китайцев с общими линиями развития европейской философии, в статье „История науки“ он дает исторический обзор развития европейских гуманитарных наук, начиная от древних греков и до XIX в., и т. д. Будучи прекрасным переводчиком, Лу Синь немало способствовал распространению в Китае знания лучших образцов европейской литературы. Великий писатель, друг Советского Союза, Лу Синь видел и понимал, что наиболее передовой, подлинно-революционной, подлинно-гуманистической является советская литература, и он уделял ей большое внимание. Он, как сам перевел ряд произведений советских писателей (напр. „Разгром“ А. Фадеева), так и был редактором и издателем целого ряда других переводов, писал к ним предисловия и т. д.

Проявляя глубокий интерес и к русской классической литературе, Лу Синь немало способствовал тому, что на китайском языке появились переводы произведений Гоголя, Горького и других русских классиков.

Нельзя не отметить и того, что в совершенстве зная историю китайской литературы, Лу Синь проявил себя также как ученый литературовед, как вдумчивый исследователь китайской литературы. Ему принадлежит почетное место в ряду современных китайских ученых, создающих новую науку литературо-

ведения в Китае. Из работ Лу Синя в этой области необходимо указать на такие книги, как „Краткая история китайской повествовательной литературы“ (中國小說史略), „Старинная библиография китайской повествовательной литературы“ (小說舊聞鈔), „Сборник Танских и Сунских новелл“ (唐宋傳奇集) и др. Всего по вопросам китайской литературы Лу Синем было написано семь книг. Большое значение имеет первая из указанных выше книг, представляющая собой обработку лекций, которые Лу Синь читал в Пекинском университете. В этой книге Лу Синь, как представитель нового Китая, подвергает резкой критике старую конфуцианскую точку зрения, исключавшую из понятия „литературы“ народную поэзию, роман, новеллу, написанные на живом языке соответствующих эпох, и доказывает необходимость изучения этой обширной области подлинного литературного творчества китайского народа. В своей книге Лу Синь впервые сделал исторический обзор литературных памятников этого творчества и изложил свою систему построения истории китайской повествовательной литературы на основе многочисленных историко-филологических данных. Писатель-исследователь рисует картину развития этой литературы от ранней придворной новеллы фантастического жанра первых веков н. э. до рождения новеллы бытового жанра, развивавшейся в городе в XI—XII вв., и излагает историю возникновения китайского романа в XIV в. и его развитие в последовательной смене жанров: волшебного, исторического, бытового и сатирического. Работа Лу Синя в области истории китайской повествовательной литературы явилась толчком к дальнейшему развитию этой отрасли литературоведения и отправным пунктом для других исследователей.

Лу Синь — этот неподкупно честный мыслитель-материалист, этот лучший сын великого китайского народа, страстный враг реакции и японского и всякого иного империализма и фашизма — был искренним и преданным другом Советского Союза, в котором он видел олицетворение всего прогрессивного, всего революционного, страну, где воплощаются в действительность мечты лучших представителей человечества, страну, где строится подлинное, социалистическое содружество людей. Понимая значение Советского Союза как великой политической и культурной силы, Лу Синь, восторженно отзываясь

о советской культуре и литературе, призывал к сближению с нашей великой родиной, к установлению нерушимых связей борющегося за свое освобождение Китая со своим великим соседом.

В одной из своих ярких публицистических статей, опубликованной в 1933 г. в журнале „China Forum“,¹ которая явилась откликом на восстановление дипломатических отношений между СССР и Китайской республикой, Лу Синь писал: „Пятнадцать лет тому назад Россия рассматривалась так наз. цивилизованными народами Западной Европы как полукультурная, полудикая страна. И тем не менее ее литература занимала высокое место в культурном мире и была во многих отношениях выше лучших работ в других странах.

В течение последних пятнадцати лет Советский Союз, на который империалистические нации смотрели как на дьявола в своей среде, произвел литературу, которая оставила далеко позади все остальные. Говоря о триумфе русской литературы, я разумею под этим то обстоятельство, что ее богатое социальное содержание и формальные качества завоевали широкие массы читателей и дали им то, что им было полезно... Мы захотели не утешительных писаний, но более реального, того, что могло бы помочь и повести нас сквозь лабиринт, который только теперь предстал перед нашим сознанием. И вот тогда мы начали познавать русскую литературу во всей ее силе. С самого начала мы увидели в ней и руководителя и друга. В ней мы увидели отраженным дух угнетенного народа, его горе и его борьбу. Конечно, мы знали, что в то время царская Россия посягает на Китай, но из чтения русской литературы мы вынесли великий урок, что в мире существуют две категории народа — угнетатели и угнетаемые. Эта идея общеизвестна в настоящее время, но тогда ее открытие для нас было таким же открытием, как огонь для примитивного человека. Русская литература начала занимать все большие и большие позиции, и у нас появились не только отдельные фрагменты, но и целые томы, посвященные русской литературе.

В Советской России мы имеем „Цемент“ Гладкова, „Железный поток“ Серафимовича, „Разгром“ Фадеева и много других

¹ China Forum (中國論壇) Shanghai March 1933 祝中俄文字之交.

произведений. Они стали широко известными среди наших читательских масс, несмотря на все скрытые нападки интеллектуальных аристократов. Потрясающие мир успехи русского народа в его борьбе, реконструкция страны стали постепенно известны благодаря литературным произведениям. Всего только месяцю назад так наз. общественное мнение буквально в один день изменило свое отношение к Советскому Союзу. Многие буржуазные газеты начинают говорить в сочувственных выражениях о Советском Союзе и даже о его литературе. Причина всего этого в факте восстановления дипломатических отношений между двумя странами. Культурные же отношения между Китаем и Советским Союзом не начинаются и не кончаются в зависимости от дипломатических отношений. Эта культурная связь наступила позднее, чем китайско-английская и китайско-французская, однако за последние десять лет, независимо от продолжения или перерыва дипломатических отношений, независимо от репрессий, распространяемых даже на книги, читательские массы продолжали существовать и даже расширяться тем более, чем грознее становились репрессии, и это доказывает, что китайские друзья Советской России не являются только друзьями в благополучии. Теперь даже Бернард Шоу в Англии и Ромэн Роллан во Франции стали друзьями Советского Союза на ряду со многими другими, а это означает для нас, что близкие культурные связи с Советским Союзом становятся для китайского народа культурной связью со всем миром“.

Так Советский Союз был для Лу Синя ярким светочем подлинной культуры, к сокровищницам которой он призывал приобщиться свой родной народ. Неоднократно Лу Синь выступал против тех, кто в звериной злобе клеветал на великое отечество пролетариев, организуя шпионаж и диверсию, — против троцкистов — этих презренных наймитов японской фашистской разведки.

В своем ответе на один из вопросов анкеты, проведенной в 1934 г. журналом „Интернациональная литература“, — „Какое влияние имели на Вас существование и успехи Советского Союза? Какие изменения в Вашей позиции вызвали Октябрьская революция и социалистическое строительство? Как и в какой мере они повлияли на Ваш образ мыслей и творчество?“ — Лу Синь писал:

78328
„Раньше я только чувствовал, что старое общество гнило, и хотел видеть новое общество, но не знал, каким это „новое“ будет; а также не знал, действительно ли хорошо будет, когда это „новое“ возникнет. Только после Октябрьской революции я узнал, что создателем этого нового общества является пролетариат. Однако благодаря антисоветской пропаганде капиталистических государств я относился к Октябрьской революции еще холодно, а зачастую даже с сомнением. Но 17 лет существования и успехов Советского Союза дали мне твердую уверенность в том, что бесклассовое общество непременно будет построено. Это не только ликвидировало целиком мои сомнения, но вселяет все больше и больше бодрости в работе и веры в будущее“.¹

Яркая, плодотворная, разносторонняя деятельность писателя-революционера безвременно оборвалась 19 октября 1936 г. Тысячи людей провожали в последний путь тело Лу Синя, любимого писателя китайского народа, который прозвал его „китайским Горьким“. Его похороны 23 октября превратились в мощную антияпонскую демонстрацию. ЦК Киткомпартии издал специальное постановление об увековечении памяти покойного.

Множество статей, посвященных памяти великого писателя, появилось в китайской периодической печати. Ноябрьские номера журналов Вэнь-сюэ (文學), Цзо-цзя (作家), Чжунлю (中流) были посвящены памяти Лу Синя. Целый ряд известных писателей современного Китая — Мао Дунь, Чжан Тянь-и, Лу Янь, Ба Цзинь, Чжан Бо-ци, Чжэн Чжэнь-до, Сюй Цинь-вэнь и ряд других литераторов в своих воспоминаниях воспроизводили светлый образ своего собрата по искусству. Мао Дунь в статье „Учитесь у Лу Синя“ предложил учредить литературную Академию имени Лу Синя и переименовать уезд Шао-син, в котором родился писатель, в уезд Лу Синя. Чжэн Чжэнь-до писал о Лу Сине как о „человеке широких горизонтов“ и присоединялся к критикам, которые называли его „китайским Горьким“. Писатель Ай Цюнь свою статью закончил такими словами: „Спи, Лу Синь, спи спокойно! Мы не забудем тебя! Враги-империалисты уже дрогнули перед нами! Старый мир колеблется! Поднимаются люди, которые не желают

¹ Правда, 5 VII 1934 г., № 183.

стать рабами... Наше оружие, на смену твоему выпавшему перу, направлено в грудь врага! Спи спокойно, Лу Синь".

Смерть Лу Синя, искреннего друга Советского Союза, вызвала чувство горечи и в сердцах советских читателей, знакомых с ним по имеющимся русским переводам лучших его произведений. Его творчество — творчество писателя-революционера, писателя-борца, близкое широким массам Китая, также близко и народам Советского Союза, пристально наблюдающим за героической борьбой китайского народа против японо-фашистских захватчиков.

Лу Синь был замечательным художником, гордостью современного Китая. Он пламенно ненавидел всех угнетателей своего народа и отдавал все свои силы делу борьбы его за будущую свободу и счастье родины. Лу Синь был подлинным народным, национальным писателем Китая, прекрасным певцом китайского народа, связавшего с ним свою судьбу художника и борца.

Памяти Лу Синя, писателя-антифашиста, борца за свободу и независимость Китая, пламенного друга Советского Союза, посвящается этот сборник, освещающий в статьях и переводах его лучших произведений жизненный и творческий путь великого писателя.

*Институт востоковедения
Академии Наук СССР*

20 IX 1937 г.

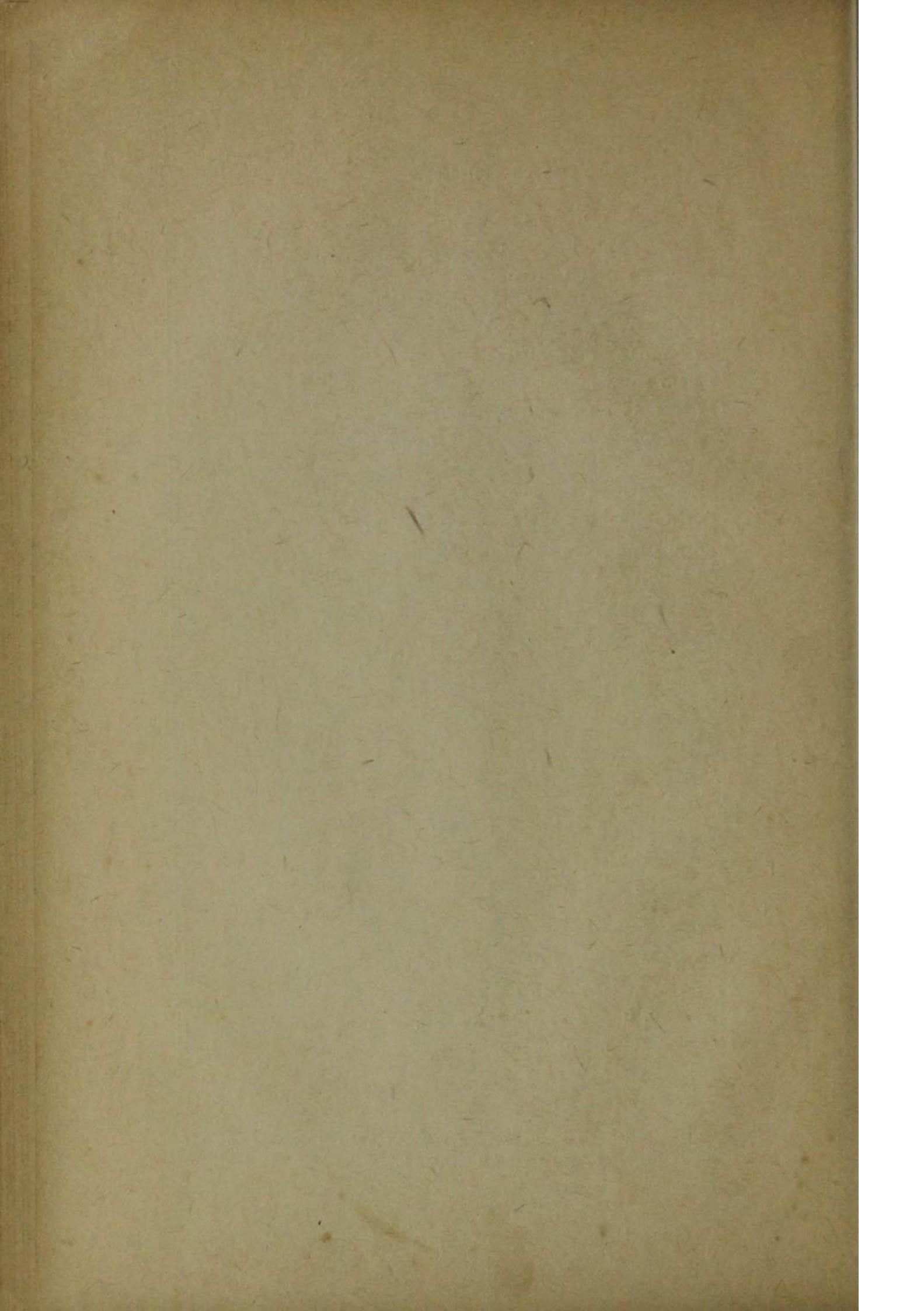
В подборе материалов, редактировании и подготовке к печати настоящего сборника принимали участие сотрудники Института востоковедения: Драгунов А. А., Думан Л. И., Муратов Х. И., Петров А. А., Рудов Л. Н., Шпринцин А. Г., а также Штукин А. А. и китайский поэт Э. Сяо.

Помещенные в сборнике переводы с китайского языка выполнены следующими лицами: „Траурная песнь“ в переводе А. А. Штукина, „Подлинная история А-Кея“, перевод под редакцией Рудова Л. Н., Эми Сяо и Шпринцина А. Г. Из „Диких трав“, „Побег на луну“, „Моление о счастье“, „Белый блеск“, „Весенний праздник“, „На показ толпе“ в переводе А. А. Штукина, „Шанхайские впечатления“ в переводе Э. Сяо.

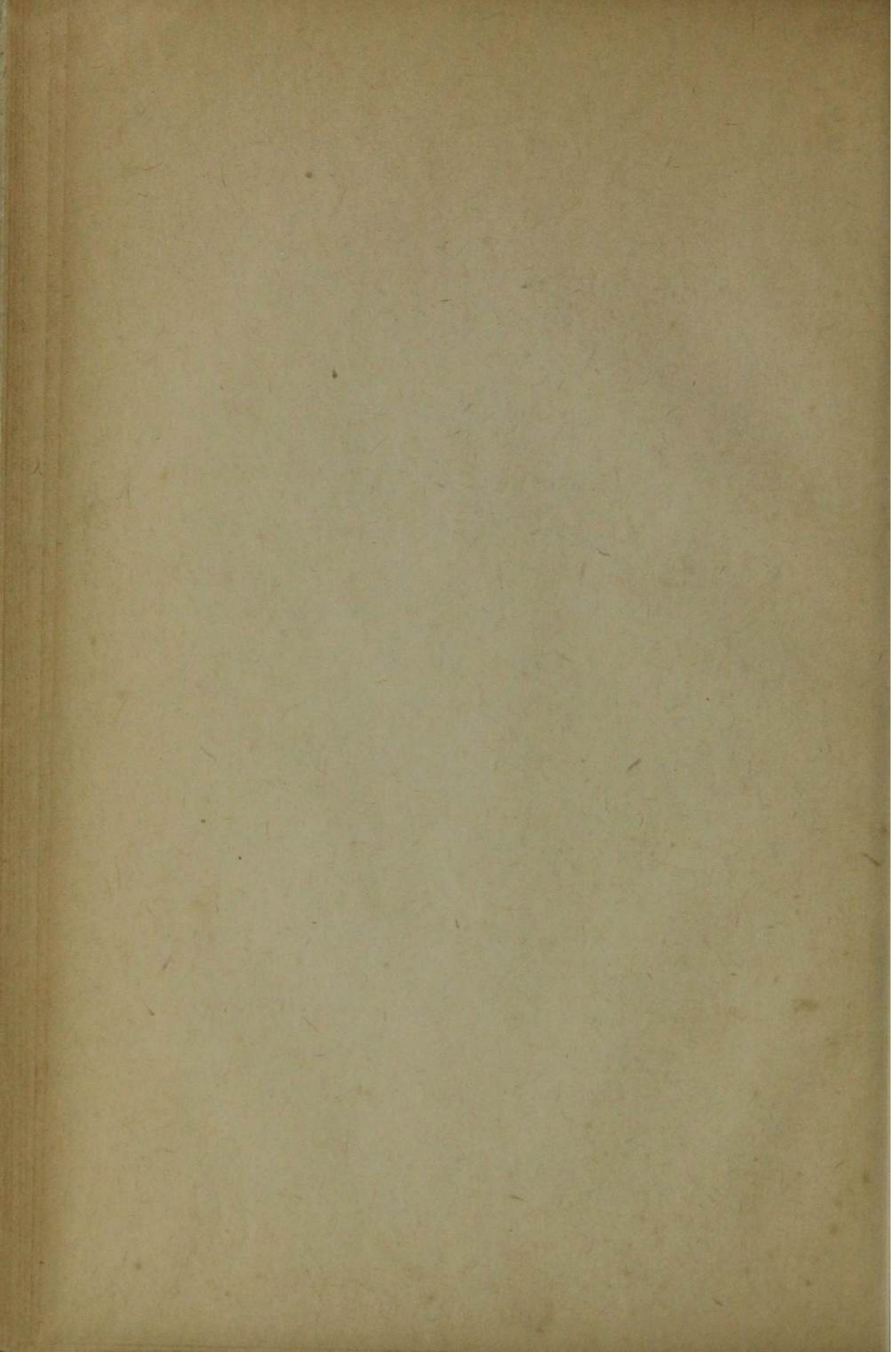
ТРАУРНАЯ ПЕСНЬ

Мы скорбим о Лу Сине учителе.
Он был душой нашей нации,
Он был кличем новой эпохи,
Он звал массы на борьбу за жизнь,
Он боролся с империализмом,
Он боролся с темными силами
И всю жизнь до старости не сгибался,
От начала до конца отдавая все силы
Мы скорбим о Лу Сине учителе, [революции.
Нашем вожде.
Острие твоей кисти — острое копье.
Оно пронзило лицо старого Китая.
Голос твой — утренний колокол,
Он пробудил рабов от обманчивого сна.
В борьбе за национальное освобождение
Ты не отступал никогда.
Подняв сверкающее широкое знамя,
Ты шел впереди нового Китая.
О, вождь!
О, товарищ!
Ты умер на поле тяжелой битвы.
Ты не умер, —
Ты живешь в наших сердцах.
Ты не умер, —
Ты живешь в наших сердцах.
Будь же спокоен,
О, вождь!
Мы сумеем пойти по твоему пути,
И в тот день, когда мы придем,
Мы, стоя перед твоей могилой,
Скажем тебе, что выполнили твою волю.

Эту похоронную песнь в день погребения Лу Синя пели провожавшие его толпы мужчин и женщин.



I
СТАТЬИ



ВЕЛИКАЯ ПОТЕРЯ КИТАЙСКОГО НАРОДА

В 10 часов утра 20 октября в газете „Правда“ мы прочитали сообщение из Шанхая о смерти „китайского Горького“ — товарища Лу Синя.

Эта печальная весть вызвала у меня безграничную скорбь: то была скорбь читателя произведений Лу Синя, то была скорбь одного из соратников Лу Синя, то была неизбежная скорбь молодого китайца, то была скорбь, непреодолимая для чувства каждого китайца. Я поэтому верю, что весть о смерти Лу Синя вызовет печаль миллионов наших соплеменников, вызовет скорбь миллионов китайской молодежи.

В прошлом году китайский народ потерял Не Эр'а. Не Эр был велик, и смерть Не Эр'а потому останется незабываемой для нас, что Не Эр был молодым композитором, был талантом, создавшим эпоху, который китайскую музыку и песни превратил в массовые песни новой эпохи. Теперь китайский народ потерял и Лу Синя. Тем и Лу Синь был велик, и весть о смерти Лу Синя потому взволновала нас так глубоко и потрясла так сильно, что Лу Синь был революционным писателем, был талантом, создавшим эпоху, который китайскую литературу превратил в отражение жизни „нижних слоев“ общества, превратил в орудие борьбы за освобождение подавляющего большинства китайского народа.

Лу Синь мог занять в кругах китайской интеллигенции и в освободительном движении столь видное место потому, что он смог непрерывно двигаться вперед вместе с эпохой. Ведь со времени движения „четвертого мая“ и до нынешнего времени он всегда умел быть на самом гребне волны передовых идей. Он полностью обладал всеми качествами и выдержкой, свойственными великому революционеру: ведь со времени господства северных милитаристов и до нынешнего времени он никогда

не поддавался ни соблазнам, ни угрозам каких бы то ни было реакционных сил. Он не только в области литературы отдал все силы делу освобождения, но и непосредственно, на практике, принял участие в борьбе великого китайского народа за свое освобождение.

Лу Синь занял в китайских литературных кругах первенствующее положение потому, что он был не только талантливым писателем, но был вместе с тем и передовым политиком. Именно потому, что Лу Синь в одном лице соединял искусство и мудрость талантливого писателя и передового политика, он мог с мастерством великого писателя творить язвительные и колкие и вместе с тем строгие и стройные политические произведения и в то же время мог с прозорливостью передового политика творить свои проникающие в сердца людские и вскрывающие современное нам зло литературные произведения.

Именно потому, что Лу Синь был великим революционным писателем и политиком, он, как и все великие творцы современности — Горький, Ромэн Роллан, Барбюс и др., — питал неистощимую горячую любовь к своему народу, к человечеству, к справедливости, к правде, к свободе, к свету, а более всего к классу, все еще эксплуатируемому и все еще угнетенному на большей части земного шара, к классу, который в то же время несет на себе историческую миссию освобождения всего человечества, — к пролетариату. Именно поэтому Лу Синь питал горячее и искреннее сочувствие к социалистическому Советскому Союзу, к героически борющейся за освобождение китайского народа коммунистической партии, ко всей передовой мысли и прогрессу мира. Что касается его отношения к социалистическому Советскому Союзу, то Лу Синь был не только верным и правдивым проводником в Китае старого литературного наследия и современного творчества Советского Союза, но одновременно и храбрым бойцом против злобной клеветы всех сил реакции на Советский Союз. Что касается его отношения к Китайской коммунистической партии, китайской красной армии и к советам, то Лу Синь не только идейно, не только печатным словом помогал великому делу освобождения, взятому на себя Китайской коммунистической партией, красной армией, и советами, не только на словах и в своих произведениях боролся с попытками всех темных сил задавить и разгромить Китайскую коммунистическую партию, красную армию и советы,

но одновременно и материально и своими действиями активно способствовал героической революционной борьбе Китайской коммунистической партии. В те времена, когда неизменно возрастали финансовые затруднения Китайской коммунистической партии, Лу Синь не раз предоставлял коммунистической партии свой добытый тяжелой писательской работой гонорар; в те времена, когда некоторые товарищи коммунисты подвергались особенно настойчивым преследованиям и арестам со стороны реакции, Лу Синь, невзирая на все опасности, всеми мерами охранял безопасность этих революционных бойцов (например, товарищ Цюй Цю-бо с помощью Лу Синя смог скрываться в Шанхае в течение нескольких месяцев). В те времена, когда силы реакции снова и снова обрушивались на китайскую красную армию и советы, Лу Синь снова и снова, невзирая ни на какой террор, открыто призывал к протесту. Лу Синь проявлял беспредельное сочувствие героической борьбе китайской красной армии; в частности, он высказывал свое величайшее восхищение героическим подвигом западного похода главных сил красной армии, он объединил свыше десяти товарищей, лично принимавших участие в работе красной армии и советов, и втайне вел с ними долгие беседы. Он собрал очень много материала, готовясь написать литературное произведение о борьбе китайской красной армии, — он говорил, что если бы можно было эпопею западного похода китайской красной армии описать в литературном произведении, то оно было бы еще более интересно, чем известный в Советском Союзе „Железный поток“; но увы, болезнь связала великого писателя, и до самой смерти он так и не смог исполнить свое заветное желание, и это является утратой не только для Китайской коммунистической партии и красной армии, но и для всей китайской молодежи, почитающей творчество Лу Синя. Когда в прошлом году Китайская коммунистическая партия объявила о своей новой тактике создания единого антияпонского фронта спасения родины, Лу Синь выражал этому делу самое горячее сочувствие и активно участвовал в организации единого антияпонского национального фронта в наших культурных кругах. Что касается его отношения к освобождению человечества во всем мире, то Лу Синь был решительным противником империализма и империалистической войны, он был преданным и искренним борцом за свободу

и за сохранение мира, он был горячим защитником ведущего в настоящее время героическую борьбу испанского народа. Именно поэтому Лу Синь питал глубокую ненависть ко всем темным силам реакции, выступавшим против прогресса и против правды, он ненавидел не только разложившуюся Цинскую династию и северных милитаристов, он ненавидел не только осуществляющих истребление нашей родины японских бандитов, он ненавидел не только открыто продающих свою страну и губящих свой народ китайских изменников, он не только ненавидел пагубную для страны тактику несопротивления внешнему врагу и массовых убийств внутри страны, он не только ненавидел все эти троцкистско-чэндусюистские ликвидаторские клики, „отвернувшиеся от человеческой морали, обязательной для каждого современного китайца“ и „приветствуемые теперь японскими захватчиками“, но он ненавидел также и тех, которые, прикрываясь именем революции, творили контрреволюционные дела, этих продажных собак, прицепивших себе овечьи головы. Вместе с тем, он особенно ненавидел тех, кто не имел выдержки и решимости революционера, тех, кто уступил угрозам и соблазнам сил реакции и капитулировал. Он не только выказывал глубочайшее отвращение и непримиримость по отношению ко всему тому преступлению и злу, которые поставили китайский народ в скотские условия жизни, но и, стиснув зубы, ненавидел темные антипрогрессивные и антисоциальные силы во всем мире — прежде всего фашизм.

Любовь и ненависть Лу Синя не были любовью и ненавистью отдельного человека, но представляли чувства китайского народа и всего прогрессивного человечества — так, например, Лу Синь сильно ненавидел японских милитаристических разбойников, но в то же время он очень любил трудовой японский народ.

„Китайский Горький“ умер слишком рано. По самый день своей смерти он так и не имел возможности свободно высказывать то, что он думал, и писать то, что он хотел писать; он знал, что в мире есть одно государство, в котором он мог бы говорить то, что он желал говорить, и поступать так, как он желал поступать, однако из-за своей болезни и различных причин он до самой смерти так и не смог осуществить свое желание — поехать туда и увидеть эту страну; он также знал, что и в Китае есть место, где он мог бы пользоваться такой же

славой, какой Советское правительство почтило Горького, однако он знал, что темные силы никогда не отпустят его туда, и поэтому он умер в условиях крайнего стеснения свободы.

„Китайский Горький“ не только не смог увидеть претворения своих высоких идеалов освобождения пролетариата и всего человечества в реальную жизнь миллионов людей на своей родине, но он даже не смог собственными глазами увидеть освобождения своего великого народа и любимой им родины от жизни на положении рабочего скота, от судьбы рабов. Это было не только горем покойного, это не только горе китайских литературных кругов, это горе всех наших соотечественников.

Как раз накануне того дня, когда китайский народ начинает решительный бой, поднимаясь из мертвых к жизни, болезнь поражает смертью нашего Лу Синя. Это не только ни с чем несравнимая потеря для Цзянь Жэнь, Цзинь Сун¹ и ее детей, это не только вызывающая беспредельную скорбь потеря для непосредственно воспитанной и вскормленной Лу Синем молодежи, это не только тяжелая потеря для миллионов читателей Лу Синя, это не только непоправимая потеря для китайской интеллигенции, литературных кругов и любящей литературу молодежи, это не только горестная потеря для мировой литературы, это еще и великая потеря для всего четырехсотпятидесятимиллионного китайского народа.

После смерти Лу Синя даже многие бывшие идейные и политические противники Лу Синя при его жизни, даже и они не могут не почтить памяти Лу Синя и не высказать своего сожаления о нем. Это свидетельствует не только об обычае умного врага осуществлять свой традиционный заговор, когда „голова уже мертвого врага является драгоценной“, но это также свидетельствует и о том, сколь велики были личные качества и авторитет Лу Синя.

В последние несколько дней мы продолжаем получать многочисленные сообщения с выражением соболезнования по поводу смерти Лу Синя и отчеты о собраниях, посвященных его памяти: не только в народных массах всего Китая и особенно в кругах деятелей литературы и искусства и в студенческих

¹ Брат и жена Лу Синя. (Ред.)

кругах, где траурные собрания памяти Лу Синя прокатились бурной волной, но и в кругах деятелей литературы и искусства важнейших государств мира, прежде всего в Советском Союзе, во Франции, среди передовых писателей Америки — всюду смерть Лу Синя вызвала величайшее волнение. Всемирная ассоциация защиты культуры в Париже телеграфно выразила свое соболезнование от имени передовых писателей всего мира, — и это является началом почитания мировой литературой памяти своего великого соратника. Центральный Комитет Китайской коммунистической партии и Китайское советское правительство выпустили особый манифест ко всему китайскому народу по поводу кончины Лу Синя; Китайская коммунистическая партия, советское правительство и командование китайской красной армии, собравшись на траурное заседание, осуществляют в советских районах мероприятия по увековечению памяти Лу Синя. Все это показывает, что Лу Синь и его дело будут всегда бессмертны.

Лу Синь умер. Лу Синем оставлено драгоценное литературное наследство, Лу Синем завещано незавершенное дело освобождения китайского народа. Каждый деятель литературы и искусства, вся интеллигенция, молодежь, каждый сознательный трудящийся, каждый боец, желающий бороться за дело освобождения трудящихся, каждый заинтересованный в судьбах своей нации и своей страны китаец, все они должны отчетливо знать: лучший способ почтить память Лу Синя — это изучение оставленных им произведений, это распространение идей Лу Синя, это подражание человеческим достоинствам Лу Синя и особенно — завершение того дела, за которое всю жизнь боролся Лу Синь, дела национального освобождения китайского народа и дела освобождения всего человечества.

Чэнь Шао-юй (Ван Мин)

Газета Giu Guo Sh Bao 25 X — 1936 г., Париж.

ПАМЯТИ ЛУ СИНЯ

19 октября 1936 г., в 5 час. 25 мин. утра, на 56-м году жизни в Шанхае скончался великий китайский писатель, глубокий мыслитель и боец за национальное и социальное освобождение китайского народа — Лу Синь. Потрясенный этой вестью до глубины души, я долго не мог заставить себя написать большую статью о нем. Но тяжелая потеря китайского народа, китайской и всей мировой литературы не дает мне права молчать, и я должен, хотя бы вкратце, рассказать о величии Лу Синя, о его жизни, о его творчестве и пламенной борьбе.

Жизнь Лу Синя

Выходец из бедной семьи, Лу Синь с детства испытывал лишения и страдания. Прочтем его же воспоминания о себе:

„Когда мне было около четырех лет, я почти каждый день входил в ломбард с бельем, одеждой или драгоценностями, становился около прилавка, высотой почти вдвое выше меня, приподымал вещи, и приказчик с презрением давал мне деньги. Затем я шел в аптеку, к прилавку, равному мне по высоте, и покупал там лекарство для больного отца... Кто из более или менее зажиточной семьи впадал в бедность, тот, я думаю, на этом пути может познать подлинное лицо людей... Я хотел ехать в город Н и поступить в школу К. Моя мать с трудом достала для меня 8 долларов на дорогу“ (предисловие к книге „Клич“).

„Я слышал, рассказывали, что было время, когда наша семья имела 40—50 му земли... Но когда мне было 13 лет, семья совершенно разорилась. Я жил у одного родственника, где иногда меня называли нищим. Я решил вернуться домой. Отец мой тяжело заболел, проболел больше трех лет и умер. Я не имел даже минимума денег для образования. Мать

нашла немного денег на дорогу, чтобы я мог поехать и поступить в бесплатную школу. В это время мне было 18 лет. Я приехал в Нанкин и поступил в военно-морскую школу. Через полгода я поступил в горно-железнодорожную школу — я хотел изучить горную технику. После ее окончания меня послали в Японию продолжать учебу. Но когда я приехал в Токио и кончил подготовительные курсы, я решил заняться медициной“ (автобиография Лу Синя).

Мы можем увидеть детство Лу Синя в его рассказе „Кун И-цзи“: „С 12 лет я служил у нас, в деревне Лу, мальчиком в винной лавке. Хозяин говорил, что я выгляжу неуклюжим и что он боится, что я не смогу служить гостям, одетым в длинные халаты, и приказал мне работать в другом зале, где сидят посетители, одетые в короткие курточки. Здесь, правда, легче разговаривать с клиентами, но придирчивость их тоже очень велика. Они всегда хотят видеть собственными глазами, как желтое вино выливается из бочки в кувшин, чтобы в кувшин не подливали воды, они хотят видеть, греются ли кувшины в действительно теплой воде, и тогда только успокаиваются. Под таким строгим контролем очень трудно было прибавлять в вино воду, поэтому через несколько дней хозяин опять стал говорить, что я неспособен вести такую работу. Хорошо, что рекомендации у меня были солидные, хозяину неудобно было меня уволить, и он приказал мне греть вино — и только. С этой поры я целыми днями стоял около прилавка и делал свою работу. Хотя я с работой справлялся и никакого греха за собой не чувствовал, но мне было очень скучно. Злое лицо хозяина, плохое обращение посетителей не давали мне повода для веселья, и только когда Кун И-цзи приходил в винную лавку я мог немного посмеяться. Поэтому я до сих пор помню о нем“ („Кун И-цзи“).

Из рассказа Лу Синя „Родина“ мы узнаем, что Лу Синь ездил из города в деревню, продал свой дом и мебель, затем поехал обратно с матерью „туда, где я нашел работу“.

Во всех этих рассказах мы видим, как тяжело жилось Лу Синю в детстве и в юности. И неудивительно, что Лу Синь так хорошо знает подлинную жизнь „низшего класса“ общества.

В своей автобиографии Лу Синь пишет: „...Хотел я поехать в Германию — тоже не удалось. Мать и несколько других родственников нуждались в материальной помощи,

и я вернулся в Китай. Мне тогда было 29 лет. Я занимался педагогической деятельностью, был преподавателем химии и биологии в учительской семинарии, через год — заведующим учебной частью средней школы Шао-син, откуда я опять через год ушел. Я хотел быть редактором одного книжного издательства, но мне отказали. Когда началась революция 1911 г., я был назначен заведующим учительской школой“.

„Когда в Нанкине создалось революционное правительство, министр просвещения пригласил меня работать в министерстве. Затем я вслед за правительством и министерством переехал в Пекин, где и работаю до сих пор“.

Эта автобиография написана Лу Синем в июне 1925 г. После 1925 г. Лу Синь неоднократно подвергался преследованию. Весной 1926 г., когда Чжан Цзо-линь должен был прибыть в Пекин, правительство хотело арестовать 50 „радикальных или большевистских“ профессоров и интеллигентов, в том числе и Лу Синя. Его уговорили приехать на юг, в провинцию Фуцзянь. Там, в Амойском университете, он читал лекции о китайской литературе. Но и здесь его продолжают преследовать, распуская слухи, что он специально приехал сюда из Пекина, чтобы навести беспорядки в Амое. Его приглашают в Кантон в университет Сун Ят-сена деканом литературного факультета. Студенты, которые уважали и любили Лу Синя, поехали вместе с ним из Фуцзяня в Кантон. Но в 1927 г., во время ликвидации блока гоминдановцев и коммунистов, положение в Кантоне было очень напряженным, Лу Синь ушел из университета Сун Ят-сена и спрятался в Кантоне в одном маленьком домике, а затем приехал в Шанхай. Здесь он прожил до последних дней своей жизни. Только однажды он съездил в Бэйпин навестить свою мать и прочел доклады в нескольких местах. Аудитории были везде переполнены.

Лу Синь — писатель-реалист

Литературная деятельность Лу Синя начинается в Китае, в Пекине, с 1918 г.¹ В период „литературной революции“, который известен в Китае под названием „движения 4-го мая“

¹ За границей — в Японии — Лу Синь хотел организовать литературную группу и выпускать литературный журнал, но это ему не удалось.

(в 1917—1920 гг. так называлось в Китае прогрессивное движение на идеологическом и литературном фронте: 4 мая 1919 г. в Пекине была антияпонская массовая демонстрация), Лу Синь был активным участником этого движения: он вел страстную борьбу против феодализма и милитаризма, против чужеземного империализма, против конфуцианства, за демократию, за реформу китайского языка и за революционную литературу.

В этом движении, „движении 4-го мая“, Лу Синь вырос и стал передовым революционным писателем-реалистом. В этот период в журнале „Новая молодежь“ и в газете „Чэнь-бао“ Лу Синь публикует свои рассказы, которые сразу привлекают необычайное внимание со стороны читателей. Два сборника рассказов „Клич“ и „Блуждания“ без всяких преувеличений можно назвать шедеврами современной китайской литературы. Образ „А-Кэя“ так известен в Китае, как в России известен „Обломов“ Гончарова, или „Рудин“ Тургенева. „Правдивая история А-Кэя“ была переведена на японский, английский, русский (имеются два перевода), французский языки и эсперанто. Французский перевод был напечатан в журнале „Европа“. После чтения этого рассказа Ромен Роллан дал восторженный отзыв и сказал, что он никогда не забудет образа А-Кэя.

Китайские читатели горячо любят книги Лу Синя „Клич“ и „Блуждания“, потому что эти книги отражают подлинную жизнь „низшего слоя“ общества, отражают жизнь людей, которых они сами всегда встречают. После бесчисленных исторических, феодальных, религиозных или приключенческих романов читатели почувствовали в рассказах Лу Синя, что они перешагнули из средних веков к современности.

„Я начал писать новеллы с целью воспроизвести жизнь, а также помочь перестроить эту жизнь... Поэтому вся тематика моя исходила из быта несчастных людей больного общества. Я хотел рассказать об их болезнях и горе и привлечь внимание, чтобы их вылечить... Я хотел бы силой моих рассказов перестроить общество“ („Как я начал писать рассказы“).

Еще до возвращения из Японии в Китай Лу Синь уже осознал, что „в первую очередь мы должны перестроить душу и сознание народа, а чтобы перестроить душу и сознание, я считал, что нужно развивать литературу и искусство; вот почему я встал на этот путь“ (предисловие к книге „Клич“).

Эта цитата говорит о том, почему Лу Синь начал заниматься литературой и искусством. Он всегда был против тех, кто писал романы только для развлечения. Лу Синь считает, что лозунг „искусство ради искусства“ выражает старые взгляды на искусство („Как я начал писать рассказы“).

Все это, бесспорно, помогло Лу Синю с самого начала его литературной деятельности стать писателем-реалистом, борцом.

Другой исключительной заслугой Лу Синя перед китайской литературой являются новая форма и живой язык его произведений. Лу Синь завоевал признание полноценной художественностью коротких рассказов. До Лу Синя рассказ в Китае считался как бы недостойным большой литературы. Язык Лу Синя прост, чист, ярок, популярен и силен. Так называемая „литературная революция“ в период „движения 4-го мая“ по существу является борьбой против старого мертвого литературного языка „Вэнь-янь“, доступного только узким кругам, борьбой за литературу на языке „Бай-хуа“, языке, приближающемся к разговорному языку. Лу Синь был первым художником этого стиля.

Борьба Лу Синя за чистоту и народность языка вполне соответствует борьбе Максима Горького в этом направлении. „Я всячески избегаю лишних слов. Когда я чувствую, что достаточно ясно передаю свою мысль читателю, я больше ничего не прибавляю, и я глубоко уверен, что это лишь способствует моей цели. Поэтому я не увлекаюсь описаниями, и диалог у меня тоже всегда короткий“. „После окончания работы я должен ее прочесть минимум два раза. Если я сам чувствую, что такое-то место не гладко, я вычеркиваю его и во что бы то ни стало добиваюсь, чтобы работа была удобочитаемой. Я никогда не употребляю искусственных слов, которые понимаю только я сам (или даже сам не понимаю)“. „Такого места, которое можно сократить, я ни за что не оставляю; когда не пишется, никогда не заставляю себя писать“ („Как я начал писать рассказы“).

Конкретные советы Лу Синя, направленные на борьбу за чистоту языка и реалистический творческий метод, мы можем видеть в его ответе на анкету журнала „Большая Медведица“: „1) больше присматривайся ко всем явлениям, не пиши по мимолетным впечатлениям; 2) создавая литературный тип, не сле-

дует брать какого-либо определенного человека; лишь присмотревшись к многим, создавай обобщенный образ; 3) после окончания работы нужно минимум два раза прочесть ее самому. Стараться отбирать слова, фразы, абзацы и вычеркивать лишние; 4) предпочитая писать скетчи, используй материалы, которые можно развить в романы, но никогда не расширяй материала скетча в роман“.

Великий писатель показывает пример весьма строгого к себе отношения и большой работоспособности. Эти высказывания Лу Синя являются золотыми правилами для всех писателей.

Лу Синь — памфлетист

Другой формой литературной деятельности Лу Синя являются его многочисленные публицистические сборники статей, фельетонов, памфлетов. Если его рассказы разоблачают всю гнусность, гнилость, темноту и жестокость старого общества, то его статьи, фельетоны и памфлеты являются не менее сильным оружием против всяких реакционных явлений и мыслей. Тов. Цюй Цю-бо (бывший член ЦК Компартии Китая, член президиума ИККИ, нарком просвещения китайского советского правительства, погибший в 1935 г.) переводил публицистические статьи Горького и писал в своем предисловии следующее: „Публицистические статьи Горького, как и статьи, фельетоны и памфлеты Лу Синя, являются комментариями их же творчества... В напряженное время, когда писатели-борцы не успевают художественным языком и образом выразить свои настроения, мысли и взгляды, они непосредственно, прямо высказывают свое мнение в публицистике“.

Такая характеристика памфлетов и публицистических статей Лу Синя совершенно правильна.

Как Лу Синь ненавидел всякую лживость, подлость, неискренность, несправедливость, трусов, оппортунистов, спекулянтов, двурушников и предателей! Как искренне он любил жизнь и человека! Все события и явления в Китае за 20 с лишним лет нашли свое отражение в его рассказах и статьях. Это прекрасная литература! Это целая история страны и общества! Прочитаем его сборники: „Под великолепным балдахином“, „Горячий ветер“, „Дикая трава“, „Два сердца“, „Три бездель-

ника“, „Южные мелодии и северные напевы“, „Книга о лже-свободе“... Прочитаем его статьи: „Впечатления Шанхая 1933 г.“, его короткие статейки на странице газеты „Шень-бао“ — „Свободные беседы“... Прочтем все его произведения, — перед нами встанут друг за другом все события в стране и тогдашние настроения общества. И всегда его острые, боевые эпитеты метко бьют по всякой и всяческой реакции, каждая строчка его политических статей, направленных против реакционной политики и реакционной мысли, каждая фраза его теоретических статей по вопросам литературы и искусства убеждают нас в том, что Лу Синь является великолепным боевым публицистом.

Лу Синь — мыслитель

Материалист Лу Синь всегда шел вперед. От противника феодализма, от буржуазного и мелкобуржуазного демократа, от индивидуального протеста, либерализма и старого гуманизма Лу Синь дошел до руководства революционным литературным движением Китая. За последние годы Лу Синь твердо встал на позиции пролетариата и всего трудящегося народа, на позиции марксизма-ленинизма, и таким образом он стал новым подлинным гуманистом. В последнее время в борьбе за создание единого народного антияпонского фронта Лу Синь выдвинул лозунг — „за национально-революционную и массовую литературу“. За последние годы во всей теоретической борьбе в китайской литературе мнение Лу Синя всегда было правильным и поэтому — руководящим. Как бы враги ни клеветали на него, их попытки разбивались в конце концов о величие Лу Синя. Лу Синь был против лживой „националистической“ литературы, против взглядов „людей 3-го сорта“, взглядов, заключающихся в том, что „литература выше всего, она не потерпит вмешательства политики“. Лу Синь выдвинул лозунг — за массовый язык, за массовую литературу. Он горячо защищает новую письменность — латинизированный китайский алфавит.

„Трудность иероглифов, — писал Лу Синь, — отделяет навсегда китайский народ от передовой культуры... Я твердо стою за то, чтобы новый алфавит заменил иероглифы, которые препятствуют развитию народа“.

В другой своей статье Лу Синь писал:

„Латинизация... связана с народом, она не является кабинетной забавой, а делом широких масс, она вышла не из старой письменности, но корни ее растут из глубины народа. Нет более простой письменности, с помощью которой все могли бы выражать свое мнение и получать необходимое им знание, чем латинизация“.

„Только творчество, написанное на новой латинизированной письменности, мы можем считать новорожденной китайской литературой, можем считать новой литературой современного Китая, так как она не отравлена ни духом устаревшей древней китайской философии, ни духом так наз. «корифеев»“ („О новом алфавите“).

Лу Синь оставил после себя богатое литературное наследство, которое является ценным вкладом в китайскую литературу и на котором молодое поколение учится и будет учиться, как надо знать действительную жизнь народа, любить его и до конца своей жизни бороться вместе с ним.

Лу Синь собирался написать большую книгу, которая должна была охватить все события в Китае, начиная с 1911 г. и по нынешние дни (тип книги „Жизнь Клим Самгина“). „Если я не возьмусь за это дело, никто другой не напишет“, — так уверенно сказал он своим друзьям.

О китайской красной армии, о ее героическом западно-северном походе Лу Синь восторженно говорил, что это еще лучше, чем „Железный поток“, и что необходимо написать книгу об этом. Лу Синь сам хотел это сделать, но практическая борьба и болезнь помешали ему осуществить свой план.

Лу Синь воспитал целый ряд молодых писателей. Ему писали со всех концов Китая, посылали ему рукописи, и Лу Синь всегда аккуратно отвечал, выправлял рукописи молодых писателей, и на сегодня целый ряд молодых китайских писателей — это непосредственные ученики Лу Синя.

Лу Синь — общественный деятель, борец-революционер

Во весь период мрачной реакции Лу Синь мужественно шел впереди, несмотря на преследования, нападки, клевету, угрозы. „Я должен жить, — писал Лу Синь. — Если на свете остаются все-таки люди, которые хотят жить, то они должны

уметь смело говорить, смело смеяться, плакать, ругаться и драться — в этом проклятом пространстве разбить проклятое время“. В этих словах — мужество Лу Синя, эти слова как раз рисуют его самого. „Если кто-нибудь спросит меня, к какой цели должна идти молодежь, то я ему скажу: 1) она должна жить, 2) должна быть сытой и тепло одетой и 3) должна развиваться. Мы должны оказать сопротивление и уничтожить всякого, кто смеет препятствовать осуществлению этих требований“ (сборник „Под великолепным балдахином“).

Лу Синь не только является борцом против старого, но он жаждет создать и новое. Он не только умеет ненавидеть, но и умеет любить. И поэтому в его произведениях нет сентиментальности и пессимизма. Еще давно он писал: „Мы недовольны теперешним, но это не значит, что мы должны оглядываться назад, а наоборот, перед нами — широкая дорога. Создать эпоху, какой не было в китайской истории, — такова задача молодежи“. „Что такое дорога? — продолжает Лу Синь. — Это такое место, где совсем не было дороги, а люди протоптали ее и уничтожили всякие сорняки, всякую дикуую поросль“.

Лу Синь всегда был оптимистом. Он был активным общественным деятелем. Он непосредственно участвовал во всей борьбе китайского народа за социальное и национальное освобождение. После временного поражения Великой китайской революции 1925—1927 гг., когда некоторые интеллигенты пошли по пути пессимизма, саботажа и даже предательства, Лу Синь был исключительно активен. Он организовал „Лигу свободы“, он участвовал в „Лиге защиты человеческого права“, он руководил „Лигой левых писателей“, он участвовал в „Ассоциации вооруженной самозащиты китайского народа“, он вступил в единый национальный антияпонский фронт, он организовал, участвовал, руководил множеством национальных и культурных организаций. Умер он утром 19 октября, а 17-го числа он еще писал до трех часов ночи.

Когда мы читаем прощальные слова жены Лу Синя Сюй: „Ты когда-то мне сказал: «Я похож на корову: сам ем травы, а доят из меня молоко и кровь»“ — каждый из нас не может не быть потрясенным.

Жизнь Лу Синя — это жизнь мужественного революционера-борца.

Лу Синь — верный сын китайского народа

Лу Синь — глубоко национальный писатель. Он всю свою жизнь шел вместе с народом, он был верен народу и любил народ. Некоторые думают, что Лу Синь слишком суров. У него юмор и сатира часто разоблачают худшие стороны китайской действительности и людей. Поэтому, думают они, Лу Синь просто ненавидит китайцев. Но на самом деле Лу Синь настоящий китаец. И он всегда был уверен в китайском народе... В его юморе и сатире — горячие слезы. В одной своей статье он писал: „С древних времен бывали люди, которые старательно работали, страстно боролись за судьбы народа. Были люди, которые даже жертвовали собой ради интересов народа. Таких людей разве мало в настоящее время? Они имеют крепкие убеждения, они сами себя не обманывают. Одни падают впереди, сзади встает еще большее количество. Такие люди часто подвергаются убийствам, казни, они исчезают во мраке и остаются неизвестны кому бы то ни было. Если говорить, что китайцы потеряли свою национальную гордость и свою уверенность, то говорить об этом можно лишь про небольшую часть китайцев; но если говорить это обо всем народе в целом, то это просто оскорбление!“

Великий сын великого китайского народа Лу Синь уверен в себе, уверен в китайском народе, и эта уверенность никогда не покидала его, он был ненавистен одной части народа и не питал здесь никаких иллюзий, но по отношению ко всему народу он питал всегда большую любовь и надежду, потому что Лу Синь ясно видел, что „с одной стороны — весьма серьезная работа, а с другой стороны — разврат и бесстыдство“ (предисловие к книге молодого писателя Тянь Цзюнь „Августовская деревня“)

Лу Синь — боец антияпонского фронта, боевой друг китайского народа и Компартии

Лу Синь был лучшим другом рабочего класса, крестьянства и Компартии Китая. Во время реакции, когда господствующий класс вел борьбу против коммунистов, Лу Синь мужественно, горячо защищал Компартию Китая, китайскую красную армию и китайские советы, и своим прекрасным пером всегда

разоблачал всякую клевету на них. Лу Синь понимал, что Компартия Китая есть „революционная партия Китая“.

Неоднократные воззвания, обращения ЦК китайской Компартии, ЦИК китайского советского правительства и китайской красной армии, в которых выдвигается лозунг за прекращение гражданской войны и за создание правительства национальной обороны и объединенной антияпонской армии, были горячо встречены Лу Синем.

В последнее время, когда Коммунистическая партия Китая выдвинула новую тактику, тактику национального антияпонского единого фронта, Лу Синь откликнулся одним из первых: „Я защищаю политику всенародного антияпонского фронта, которая выдвигается теперешней китайской революционной партией, я безусловно вступаю в этот фронт. Причина этого та, что я не только являюсь писателем, но и китайцем... Я считаю эту политику совершенно правильной“ (ответ Сю Мо-юну об антияпонском едином фронте). — „Я за то, чтобы все литераторы, все группировки объединились под лозунгом борьбы против Японии“. „Повернем винтовку на внешнего врага — вот что главное в настоящее время“, — так неоднократно говорил Лу Синь, являвшийся великим борцом антияпонской национально-революционной войны.

Лу Синь — непартийный большевик

В работе Лу Синя по защите национального антияпонского единого фронта самым ценным, заслуживающим всяческой похвалы, является то, что за последнее время Лу Синь разоблачал подлинное лицо китайских контрреволюционных троцкистов и их роль как агентов японского империализма в Китае. Китайский контрреволюционный троцкист Чэнь написал Лу Синю письмо, в котором клеветал на новую политику Компартии Китая в отношении Японии. Лу Синь в своем ответе разоблачил этих мерзавцев, стремящихся подорвать единый национальный фронт. „Ваша высокая теория, — писал Лу Синь, — одобрительно принимается японскими империалистами... Когда я увидел ваш журнал в красивом издании, меня невольно бросило в жар... Если говорят, что японцы снабжают вас деньгами для издания вашего журнала, то как вы можете опровергнуть это?“ „Ваши дей-

ствия, — строго, как свойственно ему, заключил Лу Синь, — противоречат этике теперешнего китайца! И те, кто неустанно ведут на земле кровавую борьбу за существование китайского народа, те, кого я считаю своими товарищами, являются моей гордостью“.

Лу Синь был непартийным большевиком.

Лу Синь — друг СССР

Во многих статьях, фельетонах, памфлетах Лу Синь всегда горячо защищал СССР, неустанно разоблачая клеветнические вымыслы реакционных элементов. Именно поэтому реакционные элементы повернулись против Лу Синя, всячески клеветая и говоря, что Лу Синь получил русские рубли и поэтому стал рупором СССР. Это обычный способ международных империалистов и фашистов против прогрессивных мыслителей.

Наймиты империалистов в Китае, прояпонские элементы таким же путем клеветают на китайскую Компартию, клеветают на китайских передовых литераторов и ученых. Но весь китайский народ прекрасно знает, что СССР является единственной страной, которая относится к Китаю как к равноправному государству, что СССР является лучшим другом всех угнетенных народов мира. Лу Синь много сделал для того, чтобы трудящиеся массы Китая правильно понимали и ценили возможность сближения с СССР.

После восстановления дипломатических отношений между Китаем и СССР 57 передовых китайских писателей во главе с Лу Синем послали телеграмму Совнаркому и трудящимся СССР: „Китайский народ уже ясно видит, что только СССР является искренним другом угнетенных народов мира“. В это время (декабрь 1932 г.) Лу Синь написал специальную передовую статью в журнал „Литературный ежемесячник“ под заглавием „Приветствую связь между китайской и русской литературой“. В этой статье Лу Синь пишет: „15 лет тому назад западноевропейские, так называемые цивилизованные люди считали Россию полудивицилизованной страной. Теперь все империалисты смотрят на СССР как на дьявола... А мы давно знаем, что эта большая «черная земля» должна дать свой

урожай, и, действительно, эта «черная земля» принесла урожай. Мы видим: долголетнее терпение, стоны, сопротивление, борьбу, наконец — переворот, строительство, успехи“.

Здесь мы приведем еще один документ — ответ Лу Синя на анкету редакции „Интернациональной литературы“ о своих позициях по отношению к Октябрьской революции, социалистическому строительству СССР и советской литературе.

„Раньше я только чувствовал, что старое общество гнило, и хотел видеть новое общество, но не знал, каким это «новое» будет; не знал также, действительно ли хорошо будет, когда это «новое» возникнет. Только после Октябрьской революции я узнал, что создателем этого нового общества является пролетариат... 17 лет существования и успехов Советского Союза дали мне твердую уверенность в том, что бесклассовое общество непременно будет построено. Это и вселяет все больше и больше бодрости в работе и веры в будущее“ (см. „Правду“ от 5 VII 1934 г.).

В ответе китайским троцкистам Лу Синь пишет: „Сталинский СССР имеет успехи во всех отношениях, и эти успехи СССР прекраснее всякого красноречия. Зато Троцкий стал кочевником и «вынужден» деньгами врагов продлевать остатки своей жалкой жизни...“ Лу Синь был лучшим другом СССР. И читая эти слова, мы видим, как горячо любил Лу Синь СССР и как он ненавидел Троцкого и его приспешников.

Высокая принципиальность Лу Синя вызвала, конечно, страх и преследования со стороны реакционеров, японофилов, предателей китайского народа. Сравнительно недавно в Шанхае распространялись листовки, в этих листовках были напечатаны списки лиц, которым угрожает убийство. В списке была и фамилия Лу Синя.

В разгар бешеного белого террора мы всячески уговаривали Лу Синя выехать из Китая, но Лу Синь никак на это не соглашался, говоря, что он „должен драться“. Во время 1-го съезда советских писателей был приглашен ряд известных писателей из всех стран, в том числе и Лу Синь. Я лично ему писал, чтобы он приехал и познакомился со строительством нового общества, добавляя, что он сможет записать все впечатления о новой счастливой жизни, но Лу Синь отвечал: „Я очень хотел бы присутствовать на съезде писателей, но теперешние обстоятельства затрудняют мой отъезд, потому что, если я уеду

из дому, то мне трудно будет возвращаться и тем более опубликовать мои записки, а тогда все впечатления получу только я один и не смогу их передать читателям. Значение моей поездки будет потеряно; поэтому не лучше ли попрежнему продолжать писать здесь". Под словом „дом“ у Лу Синя разумеется „страна“. „Трудно покидать страну; если покинешь, то трудно будет вернуться“. И Лу Синю не пришлось посмотреть новое общество, о котором многие годы он так мечтал. Он смог только послать письмо съезду и выразить свое отношение к Октябрьской революции, существованию и успехам СССР и к советской литературе (см. „Правду“ от 5 VII 1934 г.).

Съезд также смог только послать Лу Синю приветственную телеграмму.

Еще до этого советские писатели неоднократно приглашали Лу Синя приехать в СССР и присутствовать на праздниках 1 мая и Октябрьской социалистической революции.

Однажды, — мне помнится, это было перед праздником Октябрьской революции 1933 г., — я получил письмо от Лу Синя: „Я собирался один осуществить свое путешествие, но в конце прошлого месяца я заболел — нервным заболеванием правой ноги, старался лечиться, теперь как-будто выздоравливаю, но очень медленно. По словам врача, это потому, что я уже стар, и вообще здоровье у меня неважно, поэтому смогу ли успеть приехать — не знаю, так как сейчас нельзя будет ехать сухопутным путем, а морским путем нужно выехать заранее. Что касается денег на путешествие, то я могу сам собраться. Ночь 11 сентября“.

Мы были очень рады, когда получили это письмо, но одновременно очень озабочены болезнью Лу Синя. Мы давно хотели уговорить его, чтобы он приехал в Советский Союз отдохнуть и полечиться на юге — на берегу Черного моря, ведь за последнее время он часто болел. В последний раз мы сделали попытку конкретную и весьма энергичную, но национальный кризис углублялся с каждым днем, и Лу Синь не захотел покинуть практическую борьбу, а потом, когда он согласился выехать, то болезнь воспрепятствовала ему в осуществлении такой большой поездки. И больной Лу Синь продолжал руководить революционным литературным движением Китая, продолжал бороться против японского империализма, против реакционных

мыслей, реакционных литературных теорий и всяких контр-революционеров и предателей национальных интересов. Плохое здоровье и долголетние мучительные болезни остановили бие-ние пламенного сердца пламенного революционера.

Лу Синь — проводник русской и советской литературы и искусства в Китае

Лу Синь с самого начала своей литературной деятельности был большим ценителем и последовательным пропагандистом русских классиков. В своей статье „Как я начал писать новеллы“ Лу Синь рассказывал о том, что со времени первой китайской революции 1911 г. он любит читать произведения писателей угнетенных народов, произведения, выражающие крик и протест народа. С этой точки зрения симпатии Лу Синя еще задолго до Октябрьской революции склоняются к творчеству писателей восточной Европы: русских, польских и так наз. „слабых наций“ балканских стран. „В это время, — писал Лу Синь, — самыми любимыми писателями для меня были Гоголь, затем польский писатель Сенкевич“.

Летом 1926 г. в интервью, данном американскому журналисту R. M. Bartlett, Лу Синь заявил: „Я чувствую, что русская литература и культура богаче, чем любая другая иностранная литература и культура. Между Китаем и Россией существует какая-то естественная связь, у них есть что-то общее. Чехов является моим любимым писателем. Я также люблю Гоголя, Тургенева, Достоевского, Горького, Толстого, Андреева, а из писателей других стран — Сенкевича, Ницше, Шиллера. Русская литература переведена на китайский язык в гораздо большем количестве, чем литература других стран, и имеет очень большое влияние в Китае“.

Bartlett пишет далее: „В произведениях Лу Синя есть много похожего на произведения Достоевского и Горького. Они богаты симпатиями к народу и горячим сочувствием... Лу Синь радикал по натуре, ничего не боящийся критик и сатирик. Он самостоятелен и демократичен“.

Другой американский журналист, Younghill Kang, писал в „New York Times“ следующее: „Толстой, Достоевский и Чехов оказали на Лу Синя большое влияние. Ближе всех по стилю Лу Синь подходит к Чехову. Но Лу Синь еще более

смелый писатель... Проблема этики у Лу Синя сложнее, чем у Чехова. И Лу Синь и Достоевский одинаково страдают. Но этика у Лу Синя всегда носит социальный оттенок“.

Такое сравнение Лу Синя с русскими классиками отнюдь не случайно. Сам Лу Синь всегда горячо любил русскую литературу. И эту любовь Лу Синь весьма активно ощущал до последних дней своей жизни. Он сам тщательно переводил Гоголя, Горького и других русских классиков („Мертвые души“ Гоголя в переводе Лу Синя вышли в Китае уже 4-м изданием).

Лу Синь переводил, бережно редактировал и на свои средства издавал Фадеева, Серафимовича и ряд других советских писателей. Осенью 1932 г. под редакцией Лу Синя в Китае вышел сборник, в который вошли рассказы двадцати советских писателей (главным образом в переводе Лу Синя). Лу Синь в своем предисловии к этому сборнику еще раз высказал свое отношение к русской и советской литературе: „Русская литература развивалась как «литература для жизни»... Вот уже почти 20 лет, как этот принцип стал основой творчества части китайских литераторов. Достоевский, Тургенев, Чехов, Толстой, Горький постепенно появились на китайском языке. Они выражают стоны, крики, победу, горе. Но вместе с тем в Китае было литературное течение, проповедывавшее принцип «искусство для искусства»; затем в Китай проникла английская литература, дающая развлечение джентльменам и леди, и американская литература, удовлетворяющая низкие требования мелкобуржуазной читательской массы. Сторонники такой «литературы» весьма отрицательно относились к литературе, описывающей стоны и крики низов общества. Кроме всего этого, по старым китайским взглядам, художественные произведения являются только средством для развлечения, для отдыха после чая и вина. Это как раз и соответствует «теоретическим» основам модной английской и американской литературы. И эти три литературных течения совместными силами атаковали «литературу для жизни» — русскую литературу. Тем не менее немало людей горячо ее приветствовали. Русская литература неуклонно проникает в Китай. Наиболее усиленно переводится советская литература за последние несколько лет. Особенно обильны переводы этой литературы в 1923—1924 гг.: «Железный поток» Серафимовича, «Разгром» Фадеева, «Цемент» Гладкова, «Бронепоезд» Иванова и мн. др.“

Кроме характеристики роста влияния русских авторов, Лу Синь в этой статье дал подробный анализ истории развития всей советской литературы. В сборнике двадцати советских писателей Лу Синь сам перевел произведения пятнадцати. Он также дал в своем послесловии к этой книге краткие биографии каждого из писателей в отдельности. Из всего этого мы видим, как любовно относился Лу Синь к советской литературе. И не случайно, что советская литература пользуется все большей и большей популярностью в Китае. Нет ни одного журнала, который не печатал бы переводов советских произведений и не информировал бы читателей о литературных новостях страны советов. Лу Синь сыграл в этом огромную роль.

Приведем здесь еще один документ, характеризующий высокое мнение Лу Синя о советской литературе. Из вышеупомянутой статьи Лу Синя „Приветствую литературную связь между Китаем и Россией“ мы приводим здесь некоторые выдержки:

„Благодаря своей превосходной литературной технике и богатству содержания советская литература завоевала широкие массы читателей“.

„В Китае русскую литературу знают с конца прошлого века. Произведения русской литературы проникли в Китай постепенно. Был издан «Сборник русских пьес». Журнал «Ежемесячник новелл» выпустил специальный номер, посвященный русской литературе. Вышли две книги «Литература угнетенных народов» исключительно на русском материале“.

„Мы видели страх и ужас в произведениях Андреева, разочарование у Арцыбашева, широту — у Короленко, протест — у Горького“.

„Несмотря на многочисленные запреты и конфискации, русская литература все больше и больше проникает в массы“.

Наконец еще одно высказывание Лу Синя.

Отвечая на анкету редакции „Интернациональная литература“ — „Ваше мнение о советской литературе“, Лу Синь писал: „Я могу читать только иностранные переводы советских произведений... Я читаю советскую литературу главным образом для того, чтобы познакомить с ней Китай... Для Китая теперь произведения о борьбе в период революции и гражданской войны являются наиболее важными“ (см. „Правда“ от 5 VII 1934 г.).

Кроме художественной литературы, Лу Синь переводил и издавал еще немало теоретических и критических работ советских авторов. Он перевел книгу Луначарского „Об искусстве“, публицистические статьи Горького и др. Лу Синь перевел также все решения ЦК ВКП(б) по вопросам литературы. Книга эта вышла под названием „Литературная политика ВКП(б)“. Лу Синь часто ссылается на высказывания Ленина по вопросам искусства.

Незадолго до смерти Лу Синя вышла в Китае книга „Сборник высказываний у моря“. В книгу вошли статьи и высказывания основоположников марксизма по вопросам литературы и искусства — Энгельса, Ленина, а также Плеханова, Лафарга и др. Специальный отдел этой книги — публицистические статьи Горького. Это все прошло через руки Лу Синя. После казни Цюй Цю-бо Лу Синь бережно собирал все его литературные труды, его собственные произведения и переводные работы, редактировал и хотел издать в трех томах. Но до смерти Лу Синя успел выйти только первый том — марксистско-ленинские исследования по вопросам искусства и публицистические статьи великого пролетарского писателя Горького. Эта книга является драгоценной сокровищницей в области литературы. Китайские литераторы будут безгранично благодарны переводчику-составителю Цюй Цю-бо и редактору-издателю Лу Синю, который принял участие даже в технической работе по оформлению книги.

Кроме литературы, Лу Синя также очень интересовало советское искусство. Многие советские и западноевропейские художники, особенно графики, были переизданы в Китае. Лу Синь с любовью на свои средства издавал советских графиков. К этому изданию Лу Синь написал предисловие, в котором говорится: „Будущее доказывает, что мы не только являемся хранителями искусства, но и создателями настоящего большого искусства“. Через друзей Лу Синь пересылал советским художникам китайскую бумагу. 100 рисунков — иллюстрации к книге „Мертвые души“ Гоголя печатались отдельной книгой в Китае. И благодаря поощрению Лу Синя в Китае в настоящее время очень развита графика. Сам Лу Синь организовал курсы графики для китайских художников и лично участвовал в их работе. Незадолго до смерти он еще посещал выставку китайских графиков в Шанхае и дал много ценных

указаний. Молодые китайские художники часто посылали ему свои работы, чтобы получить от него указания. Лу Синь был настоящим искусствоведам и лучшим ценителем советского искусства.

Лу Синь — борец антиимпериалистического фронта, антифашист

Лу Синь горячо любил человечество, любил справедливость и свободу, поэтому он не только участвовал в борьбе китайского народа за свое освобождение, но также горячо симпатизировал борьбе всего человечества за свободу и за мир. В 1933 г. в Шанхае созывалась антивоенная и антифашистская конференция. Лу Синь был одним из активных организаторов и участников этой конференции. „Конференция созывалась с большим трудом. Газеты не хотели публиковать никаких вестей с конференции, поэтому в то время в Китае очень немногие знали об этой конференции; но все же результаты конференции весьма хорошие. Делегаты всех стран по возвращении к себе делают доклады, и уже многие сейчас понимают действительное положение в Китае. Я участвовал в конференции“. Это ответ Лу Синя на письмо молодого писателя Тянь Цзюня об антивоенной и антифашистской конференции.

Когда немецкие фашисты пришли к власти и стали сжигать все ценные произведения, арестовывать и выгонять из Германии всех известных писателей и ученых, затоптав сапогами немецкую культуру, Лу Синь, вместе с представителями культурных организаций Шанхая, лично ходил в немецкое консульство в Шанхае с протестом против зверств разрушителей культуры — против фашистов. Лу Синь очень внимательно следил за борьбой испанского народа против фашистов и горячо защищал борьбу за свободную, демократическую республику Испании.

Лу Синь был другом человечества, борцом против империализма и империалистической войны, борцом против фашизма за мир и свободу.

Лу Синь — „китайский Горький“

Когда-то Лу Синь писал: „Времени, когда я смогу свободно говорить, что я захочу, — этого времени я не дождусь“. Но Лу Синь все же умел говорить, умел смеяться, умел плакать,

умел гневаться и умел драться. В этом проклятом пространстве разбил проклятое время. Каждое его слово мобилизует людей итти вперед, мобилизует людей итти к „будущему свету“. „Спасти детей!“ — это последние слова первого рассказа Лу Синя „Дневник сумасшедшего“ (апрель 1918 г.). В этих словах мы видим цель всей жизни Лу Синя и задачу его борьбы — борьбы за счастливое будущее человечества.

Китайские читатели считают Лу Синя „китайским Горьким“. И действительно, мы не найдем никого среди мировых великих писателей, кто мог бы оспаривать у Лу Синя это сравнение. Как и Горький, Лу Синь умел ненавидеть, умел любить. Как и Горький, Лу Синь всегда был очень строг, но в то же время был полон любви к народу и надежды на новое поколение, на новое общество. Лу Синь заслуженно пользовался безграничным авторитетом у китайских народных масс. Он руководил всей культурной и литературной жизнью Китая. По своей работоспособности и трудолюбию Лу Синь был также похож на Горького. После смерти Горького, через несколько месяцев, мы потеряли и Лу Синя. Это тяжелая потеря для всего человечества! Но китайские литературные круги с горем отмечают: „Потеря Лу Синя для Китая тяжелее, чем потеря Горького для СССР, ибо Горький всю свою жизнь боролся и своими глазами увидел свой идеальный сад, который с каждым днем укрепляется, растет, и он дожил до закрепления базы новой культуры в СССР. После смерти Горького безграничное количество Горьких может появиться. А в Китае, в такой напряженный политический момент национального кризиса, когда требуется мобилизация всех работников всех областей, чтобы спасти страну, Лу Синь, как великий руководитель этой организации, безвременно покинул нас. Эту тяжелую потерю можно заполнить, только удесятирив усилия нашей молодежи“ („Бэйпин Синьбао“. Интервью Цао Цзин-хуа).

Великая скорбь великого китайского народа

Весь Китай был потрясен смертью великого писателя Лу Синя. Вся китайская пресса в эти дни посвящала целые страницы этой тяжелой потере, все китайские литературные журналы выпустили и продолжают выпускать специальные номера, посвященные смерти Лу Синя, даже враги Лу Синя

после его смерти не могли не признать его величия, высокой художественности его произведений, мужественности и непримиримости покойного писателя.

Сразу после смерти Лу Синя в Шанхае образовалась похоронная комиссия, в состав которой вошли: президент Академии Наук Цай Юань-пэй (председатель), вдова Сун Ят-сена — Сун Цин-лин, 97-летний революционер Ма Сян-бай, крупнейшие писатели и журналисты — Мао Дунь, Чжоу Тао-фынь и др. Тысячи и тысячи народа 20 и 21 октября проходили в зале „Интернационального похоронного бюро“, где лежало тело писателя, чтобы попрощаться с ним и в последний раз отдать свой долг любимому писателю, другу и учителю. Среди них большинство было молодежи — учащихся и рабочих, особенно много было девушек-студенток и детей. Многие проходили мимо покойного писателя молча, не сдерживая слез. Немало молодежи пришло пешком с далеких окраин Шанхая попрощаться с писателем. 80 учебных заведений было зарегистрировано в книге проходящих. В почетном карауле, кроме писателей, ученых, журналистов и ряда общественно-культурных деятелей, стояли Цай Юань-пэй, Сун Цин-лин и представитель полпредства СССР в Китае, которое также прислало венок и соболезнование жене покойного. Были получены телеграммы-соболезнования со всех концов мира, в том числе от ВОКС.

Похороны состоялись 23 октября. Тело писателя провожало свыше 10 тысяч человек. 14 писателей несли гроб. Похороны превратились в мощную антияпонскую демонстрацию. Были распространены листовки „Ассоциации национального спасения“. Отряд похоронных плакатов,¹ выражающих скорбь о покойном, стал отрядом революционных плакатов и лозунгов. На похоронах организовались отряды траурных песен. Песни пели девушки и юноши по очереди, а затем все вместе хором.

Вот текст одной из песен:

Д е в у ш к и. Оплакиваем смерть Лу Синя!

Ю н о ш и. Оплакиваем смерть Лу Синя!

Д е в у ш к и. Он — душа нашей нации!

Ю н о ш и. Он — голос новой эпохи.

¹ По китайскому обычаю, друзья и родные покойника преподносят два плаката из белой материи, на которой пишут ритмические слова соболезнования.

Все вместе. Он призывал народ к борьбе
За существование свое —
Против японских захватчиков,
Против темной реакции.
Все усилия — за революцию
До последнего дня жизни своей.

Девушки. Он — наше знамя.

Юноши. Он — наше светило!

Все вместе. Он покинул нас!

Он нас покинул!

Девушки. Оплакиваем смерть Лу Синя!

Юноши. Оплакиваем смерть Лу Синя!

Все вместе. Прощай, наш учитель!

У могилы устроили траурный митинг под председательством Цай Юань-пэя. На митинге выступали сам Цай, Сун Цин-лин, писатели и журналисты Шэнь Цзюнь-жу и Чжоу Тао-фынь.

У писателя остались 80-летняя мать, жена Сюй и девятилетний сын Хай-ин.

В Шанхае получено постановление ЦИК Китайского советского правительства и ЦК Компартии Китая. В постановлении говорится следующее:

1. Во всех частях красной армии, во всех учреждениях советского Китая спустить флаг и устроить траурный митинг, посвященный смерти Лу Синя.

2. В центральном городе советского района поставить памятник Лу Синю.

3. Утвердить премию им. Лу Синя в сумме 100 000 долларов для премирования лучших учащихся учебного заведения в советском районе.

4. Присвоить Центральной библиотеке в советском районе имя Лу Синя.

5. Организовать сбор средств для постройки аэроплана им. Лу Синя.

6. Издать полное собрание сочинений Лу Синя.

7. Выпустить письмо-воззвание ко всему народу Китая по поводу смерти Лу Синя.

Кроме того, председатель ЦИК Китайского советского правительства тов. Мао Цзэ-дун телеграммой обратился к нанкинскому правительству со следующими предложениями:

1. Составить биографию Лу Синя в „Институте государственной историографии“.

2. Поставить в Бэйпине, Тяньцзине, Шанхае, Нанкине, Кантоне и других крупных городах памятники Лу Синю.

3. Переименовать уезд Шао-син, где родился Лу Синь, в уезд Лу Синя.

4. Переименовать Бейпинский государственный университет, где читал лекции Лу Синь, в Университет им. Лу Синя.

5. Установить премию Лу Синя для лучших литературных произведений.

6. Организовать общество изучения литературного наследства Лу Синя.

7. Снять запрет на книги Лу Синя.

8. Установить пенсию для семьи Лу Синя, как для семьи погибшего революционера.

ЦК Компартии Китая и ЦИК Китайского советского правительства послали также телеграмму соболезнования семье покойного писателя. Содержание телеграммы:

Шанхай, Ассоциация культурных сил для спасения страны. Передать гражданке Сюй Цзин-сун.

Компартия Китая, Китайское советское правительство и весь народ советского района глубоко скорбят по поводу потери великого литератора, учителя и энтузиаста, искавшего свет, вождя антияпонского национального фронта и соратника в борьбе за коммунизм и советское движение — Лу Синя. Выражая глубокое горе, уверены, что народ всего Китая и лучшие литераторы смогут, несомненно, продолжать дело Лу Синя и вести смертельную борьбу против всяких и всяческих захватчиков и угнетателей, чтобы добиться окончательного национального и социального освобождения китайского народа и его угнетенных классов.

ЦК КП Китая

ЦИК Кит. сов. правительства.

То, как реагировал Китай на смерть Лу Синя, предложения и телеграммы ЦК КП Китая и ЦИК Китайского советского правительства доказывают, как высоко ценят трудящиеся массы своих великих сынов и чтят память о них.

Лу Синь умер, но его высокохудожественные произведения, его мужественность, справедливость и непримиримость в борьбе, его боевой дух и горячая любовь к народу, его настоящий великий гуманизм и человечность будут жить в веках в сердцах миллионов трудящихся масс народов и служить им великим примером и образцом настоящего человека.

Эми Сяо.

ЛУ СИНЬ И ВОПРОСЫ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА И ПИСЬМЕННОСТИ

Жизнь и деятельность великого китайского писателя Лу Синя была необычайно многогранной и разносторонней. Но вся эта многогранная и яркая деятельность была проникнута одной идеей, была направлена к одной цели — национальному и социальному освобождению китайского народа.

Лу Синь весь свой громадный талант писателя, мыслителя и борца отдал одному делу — делу борьбы за лучшее будущее своей страны и своего народа. И в этой борьбе для него не было и не могло быть мелочей. Везде, где Лу Синь чувствовал, что его слово, его работа могут принести пользу делу освобождения китайских трудящихся, он всегда был в первых рядах и одним из первых.

Вполне понятно, что и в области языка и письменности, которая Лу Синю была особенно близка, он был таким же страстным борцом за самые передовые идеи, за самые радикальные средства для подъема культурного уровня широких масс китайского народа. Всю свою жизнь Лу Синь решительно и последовательно боролся против всего, что затрудняет народным массам доступ к грамотности, знаниям и культуре, против всего реакционного и отжившего, против всего, что тяжелыми путами сковывает стремление китайского народа к культуре и просвещению и тянет назад к застою, тьме и невежеству, косности и средневековью.

Но для того, чтобы мы могли понять и в должной степени оценить деятельность Лу Синя в области китайского языка и письменности, надо представить себе состояние китайского литературного языка на рубеже XIX—XX вв. и в первой четверти нашего столетия.

Хорошо известно, что в области языка пережитки феодализма в Китае необычайно сильны, и вряд ли кто станет сейчас оспаривать то, что старый феодальный язык — *Вэнь-янь* и неразрывно с ним связанная иероглифическая письменность являлись и до сих пор являются громаднейшим препятствием на пути к широкому распространению в Китае грамотности, а стало быть и политическому и культурному росту широких масс китайского народа.

Не случайно поэтому, что все прогрессивные движения конца XIX и начала XX вв., в особенности подъем национально-освободительного движения в послевоенные годы, неизменно находили свое отражение в движении за реформу китайского языка, против иероглифической письменности и старой системы образования. Мы имеем все основания утверждать что последнее пятнадцатилетие (1919—1935) прошло в частности и под знаком языковой борьбы, было посвящено вопросам создания литературного языка, который отвечал бы новым общественным потребностям,

В настоящей статье мы не ставим своей задачей дать подробный очерк всех этих, порой дававших известный положительный результат, а порой заранее обреченных на неудачу, попыток реформы китайского языка и письменности. Мы остановимся лишь на фактах последних лет, когда особенно отчетливо выявилась половинчатость и недостаточность всех имевших место попыток реформировать китайский язык, когда резкое обострение в стране социальной и национально-освободительной борьбы вызвало и обострение борьбы за создание языка и письменности, доступных широким народным массам, когда в борьбу за язык и письмо включились сами народные массы и когда было создано новое, наиболее действенное орудие борьбы за подъем культурного уровня масс — китайский новый алфавит, в деле распространения и продвижения которого Лу Синь принял самое деятельное и горячее участие.

Лу Синь и вопросы массового литературного языка

Из всех попыток реформы системы китайского образования и китайского литературного языка, которые имели место до 1934 г., наиболее эффективной по своим результатам несомненно была так наз. „литературная революция“ 1919 г.

Тесно связанная с мощным подъемом антиимпериалистического национально-освободительного движения в этот период „литературная революция“ несомненно сыграла большую и исторически прогрессивную роль в деле демократизации китайского литературного языка, приближения его к формам живой речи.

Подводя итоги языковой дискуссии и полемики периода „литературной революции“, китайский литератор и общественный деятель Чэнь Цзы-чжань делает в одной из своих статей любопытное замечание о том, что по сути дела „Борьба и дискуссия о письменном языке (筆頭語) в период „литературной революции“ была борьбой между языком горожан (市民語) и языком аристократии (貴族語).¹ Это замечание, при всей нечеткости его формулировки, не лишено большой доли справедливости, ибо призванный к жизни „литературной революцией“ так наз. „белый язык“ — *Бай-хуа*, бесспорно представлял собой значительный шаг вперед в деле ломки реакционных феодальных пережитков и традиций в области китайского языка.

Лу Синь в движении за „литературную революцию“ непосредственного, руководящего участия не принимал, однако Лу Синь, и в этом его величайшая заслуга, первый стал писать на *Бай-хуа* первоклассные литературные произведения.² В этих произведениях, реалистических по своему характеру, отражавших жизнь широких народных масс, уже было заложено то, что впоследствии сделало Лу Синя вождем китайской революционной литературы и вдохновителем работы по созданию литературного языка, базирующегося на живой народной речи и алфавитной системе письменности.

Однако оформление *Бай-хуа* как общекитайского литературного языка не было и не смогло стать коренным решением вопроса о современном китайском литературном языке. И если мы выше охарактеризовали истекшее пятнадцатилетие, как прошедшее под знаком борьбы за создание китайского литературного языка, который отвечал бы новым общественным условиям, то к этому надо добавить, что такой язык остался все же не выработанным, что задача осталась не решенной.

¹ Сборник 語文論戰的現階段 — „Современный этап дискуссии о языке и письменности“. Шанхай, 1935, стр. 156.

² См. об этом статью Э. Сяо в настоящем сборнике.

Одна из причин этого заключалась в том, что *Бай-хуа*, как новый общелитературный язык, брал за основу не живую китайскую народную речь, а продолжал многовековую языковую традицию так наз. „старой беллетристики“.¹

Движение за „литературную революцию“ не создало и не смогло создать действительно массового литературного языка, так как, базируясь в целом на материале иероглифического языка, оно, во-первых, оставило широкую возможность для дальнейшего существования мертвого литературного языка *Вэнь-янь*, а во-вторых, в своем дальнейшем развитии пошло не по пути еще большей демократизации литературного языка, еще большего его приближения к живой речи народных масс, а наоборот, по пути сближения со старым классическим языком, антиподом которого оно вначале выступало.

Незавершенность „литературной революции“ надо понимать именно в том смысле, что не было создано условий для развития в литературные языки живой речи народных масс Китая. Была создана такая обстановка, при которой почти не принимались во внимание особенности живой народной речи, а наоборот, усиленно использовались грамматические и лексические формы классического языка, и все это во множестве и без разбора перемешивалось с японизмами и европеизмами, образовав в итоге трудный для чтения и понимания литературный стиль.

Эту характеристику необходимо дополнить еще одним обстоятельством, чрезвычайно важным для понимания языкового развития Китая последних 25 лет.

Дело в том, что „литературная революция“, являвшаяся частью общего подъема национально-освободительного, антиимпериалистического и антифеодального движения в Китае, в области непосредственно языковой выражала исторически вполне закономерную тенденцию китайской национальной буржуазии и радикальной интеллигенции к созданию единого

¹ 舊小說. Дело, однако, не в самой этой языковой традиции, которая представляет собой крупнейшее культурное наследие прошлого и в лучших своих элементах должна быть использована. В этом отношении „литературная революция“ явилась известным завершением многотысячелетней борьбы между народным творчеством и классическим языком, хотя бы в аспекте непрерывных попыток втиснуть это творчество в рамки традиционной литературной формы и иероглифического языка.

национального государственного китайского языка. Такой язык усиленно пропагандировался и насильственно насаждался во всей системе образования, в форме *Го-юй* — единого национального языка, базирующегося на том же *Бай-хуа*, с говором Пекина (тогда столицы Китая) в качестве основы общекитайского языкового стандарта и с иероглификой как общегосударственной нормой письменности. Поскольку же иероглифика не могла способствовать унификации языка в его произносительном аспекте, то в качестве вспомогательного к ней средства были составлены различные системы полуслогового письма (*Чжу-инь цзы-му*, *Го-юй ромацзы*), столь же ограниченные по сфере возможности их использования, сколь и сложные по своей форме.

Таким образом, хотя результатом „литературной революции“ и была известная демократизация письменного языка, однако общие итоги движения за *Бай-хуа* свелись к тому, что для мертвого литературного языка оставалось большое поле деятельности, феодальная иероглифическая письменность полностью сохраняла свою силу и значение, а подлинный народный китайский язык, в особенности диалекты юго-восточного и центрального Китая (не говоря уже о языках национальных меньшинств), был лишен права на свое дальнейшее развитие и закрепление в литературе, подчиняясь искусственно созданной норме всеобщего государственного языка.

Из всего сказанного выше нетрудно уже предугадать направления развернувшейся в Китае в последние годы языковой борьбы, в которой Лу Синь принял самое непосредственное и активное участие.

Уже в 1928 г. литературная группа *Чуан-цзао* декларирует о половинчатости и незавершенности „литературной революции“. Несколько позднее, в 1932 г., в журнале „*Вэнь-сюэ Юэ-бао*“ „Литературный ежемесячник“ развертывается полемика о литературе для масс и о языке, на котором эту литературу надо создавать, полемика, правда, вскоре приостановившаяся.

Наконец, в 1934—1935 г. мы имеем необычайную по своему размаху и актуальности поднятых вопросов дискуссию о *Дачжун-юй*, литературном языке широких масс.

Возникшая вначале под знаком противодействия участвовавшим к этому времени попыткам возродить старый литератур-

ный язык, восстановить в школах преподавание *Вэнь-янь* и классиков, дискуссия вскоре перерастает узкие рамки этой борьбы.¹

Анализируя причины и почву, питающие реакционные попытки возрождения казалось бы умершего классического литературного языка, нельзя было не прийти к несомненному выводу, что одной из таких причин является порочность современного литературного языка — *Бай-хуа*,² который потерял свой прогрессивный характер, свою былую направленность против *Вэнь-янь* и сейчас уже никак не может являться антиподом феодального языка и верным средством подъема культурного уровня китайского народа.

„Литературная революция“ осталась незавершенной, и поэтому выдвигается требование второй литературной революции, основным содержанием которой должно быть: против *Вэнь-янь*, против сросшегося с *Вэнь-янь* *Бай-хуа*, против иероглифической письменности, за литературный язык понятный и доступный широким массам населения всех районов Китая, за письменность, которая отвечала бы потребностям этих масс и была бы для них доступна и легка.

Ясно, что Лу Синь, начавший свою литературную деятельность именно в период „литературной революции“ и по праву считающийся первым художником слова на *Бай-хуа*, не мог не видеть всей порочности пути, по которому пошло развитие *Бай-хуа*. И Лу Синь стал одним из инициаторов борьбы с этим обюрократизировавшимся *Бай-хуа*, одним из вдохновителей движения за *Да-чжун-юй*.

Лу Синь устно и печатно в ряде статей, писем и деклараций, относящихся к 1935 и 1936 гг., выступает как категорический и последовательный сторонник движения за *Да-чжун-юй* и горячо пропагандирует два, на наш взгляд наиболее существенные, требования этого движения. Первое — обязательно использовать в *Да-чжун-юй* все богатство китайского народно-разговорного языка, вплоть до создания самостоятельной

¹ Подробно об этой дискуссии говорится в нашей рецензии, помещенной в журнале „Библиография Востока“, № 10, стр. 173, а также в статье „Новый этап борьбы за язык и письмо масс в Китае“. „Революция и письменность“, сб. № 2.

² Любопытно, что требование реакционных кругов о возвращении к старому языку тоже мотивировалось порочностью *Бай-хуа*.

литературы для отдельных языковых групп Китая. Второе, неразрывно с первым связанное и логически из него вытекающее, — основой письменности для *Да-чжун-юй* должна быть не иероглифика, а алфавит, притом не *Чжу-инь цзы-му* и системы романизации, а латинизация, китайский новый алфавит, который к этому времени уже получил успешное осуществление среди китайского населения СССР и начал распространяться в самом Китае.

Нам следует обратить особое внимание на эти два коренных положения всей дискуссии о *Да-чжун-юй*, ибо сущность *Да-чжун-юй*, его принципиальное и реальное отличие от *Бай-хуа* именно в том, что *Да-чжун-юй* означает всемерное развитие и закрепление на письме народных языков и диалектов разных районов Китая и создается на основе 方言 (*Фан-янь*) и 土話 (*Ту-хуа*), так наз. китайских диалектов и местных говоров.

В защиту этого положения Лу Синь выступил со всем своим авторитетом писателя, ученого и общественного деятеля. В специальной статье „Иероглифика и латинизация“¹ Лу Синь подвергает уничтожающей критике доводы противников, утверждающих, что *Да-чжун-юй* это мифическая вещь, и что в лучшем случае это не что иное, как тот же самый *Бай-хуа*.

„Противники *Да-чжун-юй*, — начинает Лу Синь эту статью, — категорически требуют от его сторонников «Покажите ваш товар лицом...» Конечно, выступать за *Да-чжун-юй* труднее, чем было в свое время выступать за *Бай-хуа*, ибо в то время, когда выдвигали *Бай-хуа*, то — худо ли, хорошо ли, — но то, чем пользовались, можно было в общем считать *Бай-хуа*. А вот сейчас те самые статьи, в которых агитируют за язык масс, в большинстве своем далеко не представляют собой языка масс“.

Однако это все же не дает противникам массового языка права требовать, чтобы им эту форму литературного языка тут же предъявили. „Ибо, — продолжает с едким сарказмом Лу Синь, — если больной, инвалидный человек будет поддерживать движение за здоровье, за физическую крепость, то в этом абсолютно не будет ничего ошибочного. А вот если физически

¹ 漢字和拉丁化, помещена в газете „Еженедельник на новом алфавите“ 新文字周刊 (Приложение в гонконгской газете 大衆日報 № 30, от 20 X 1936 г.).

крепкая женщина с неизуродованными бинтованием ногами будет агитировать за бинтование ног, то она вольно или невольно наносит людям вред“.

Возражая далее все тем же критикам, которые с упорством, достойным лучшего применения, требуют: покажите нам образцы этого массового литературного языка, Лу Синь справедливо указывает, что такая громадная проблема, как создание массового языка, не может быть сразу, в один прием, решена.

Если вести атаку на массовый язык, используя для этого известные минусы и противоречия его, то вот вы противники *Да-чжун-юй*, и вы же сторонники *Вэнь-янь* или *Бай-хуа*, — *Вэнь-янь* имеет многотысячелетнюю историю, а путь развития *Бай-хуа* определяется по крайней мере последним двухтысячелетием, — покажите и вы нам всем свой „товар“.

Тезисы о создании самостоятельной литературы на так наз. *Ту-хуа* и *Фан-янь* были более подробно развиты в воззвании о распространении нового алфавита, которое, кроме Лу Синя было подписано еще президентом *Academia Sinica* Цай Юаньпэем, Сунь Фо, крупнейшими писателями Мао Дунем и Го Можо, а также виднейшими китайскими литераторами, журналистами и педагогами. Всего более 700 человек.¹

Основной порок всех имеющихся систем китайского алфавита, как совершенно правильно подчеркивается в этом программном характере документе, заключается в том, что они² ориентируются на единый, принудительно насаждаемый государственный язык.

„Так называемый «романизированный алфавит для национального языка» рабски преклоняется перед языком Пекина. Номинально провозглашают единый государственный язык, а по сути дела осуществляется господство и деспотизм пекинского языка.

„На взгляд человека, располагающего и досугом и материальными средствами, выучить пекинское произношение и затем с помощью романизированного алфавита научиться читать

¹ 我們對推行新文字的意見. „Наше мнение о распространении нового алфавита“. Цитирую по тексту, перепечатанному в вышеупомянутом приложении к гонконгской газете 大衆日報.

² Оставляем пока в стороне чрезвычайно сложную графику и орфографию этих алфавитов, о чем речь ниже.

и писать, представляется делом пустяковым. Однако, заставьте шанхайского, фучжоуского или кантонского рабочего одновременно изучать и пекинский язык и романизацию, да ведь это по своим трудностям почти равно изучению иностранного языка“.

Парируя известный довод сторонников иероглифической письменности, будто она является могучим объединителем Китая, авторы декларации (в том числе Лу Синь) пишут:

„Есть люди, которые боятся, что появление нового алфавита для отдельных местных языков будет тормозить объединение Китая. Разрешим себе более подробно рассмотреть этот вопрос и увидим, что такого рода опасения преувеличены.

„Во-первых, расхождения в языке разных мест Китая не так уж чересчур сильны, как мы это себе обычно представляем... Расхождения между отдельными диалектами имеют определенные нормы, и нам следует только выявить эти нормы взаиморасхождений...

„Во-вторых, иероглифы только номинально являются объединяющей Китай письменностью. Знающих иероглифику — меньшинство, а большинство населения является бесписьменным. Большинство людей, не владея письменностью, не может таким образом, помимо устной речи, общаться друг с другом, а также с владеющим иероглификой меньшинством. Если же письменность на языке каждого района получит распространение среди широких масс данного района, то масса населения этого района получит возможность общения друг с другом“.

Позиция Лу Синя в отношении одного из коренных вопросов современной китайской языковой действительности вырисовывается таким образом из предыдущего изложения вполне определенно и отчетливо. Это позиция решительного противника насильственно навязываемого всему Китаю единого государственного языка, позиция убежденного сторонника развития и оформления в письменности местных народно-разговорных языков.

Здесь необходимо сделать одно чрезвычайно существенное замечание. Дело в том, что тезис о едином общеобязательном языке и местных языках, сформулированный в такой общей форме, может вызвать ряд недопониманий и неверных толкований, которые в конечном итоге могут привести и к ошибочным выводам.

Одним из таких ошибочных суждений было бы рассматривать живую речь отдельных районов Китая как вполне самостоятельные и не стоящие ни в какой связи друг с другом языки.

Для такой широкой трактовки тезиса о местных языках у нас нет никаких оснований лингвистических и иных.

В самом деле, как результат сложного исторического процесса языковая раздробленность Китая на множество наречий и говоров представляет собой один из пережитков феодализма, в большом числе наличествующих сейчас в экономике и культуре страны. Естественно, что дальнейшее направление языкового развития лежит не по пути еще большего дробления, а, наоборот, по пути унификации этих мелких наречий и говоров. Но если брать даже более компактные языковые единицы, например, севера и юго-востока Китая, то и в этом случае нет оснований для противопоставления их друг другу как совершенно независимых языков. Во-первых, по своему качеству эти расхождения отнюдь не являются взаимопротивоположными и взаимоисключающими. Наоборот, они связаны чрезвычайно точными и систематическими соответствиями, сводящими эти языки в одну общую группу. Таким образом живая речь Пекина и Кантона, различаясь между собой весьма существенно, тем не менее может быть объединена в одно общее целое, противопоставляемое как такое целое, например, языку японскому.

Во-вторых, и это особо важно, степень расхождения сама по себе не может служить основанием для установления различия между языками и диалектами. Так, например, исследователи указывают, что языки болгарский и сербский гораздо более похожи друг на друга, чем диалекты баварский и швабский в Германии, и все же болгарский и сербский являются самостоятельными национальными языками, а швабский и баварский — диалектами немецкого языка.

Кроме того, в данный исторический период и в конкретных условиях данной страны, полное противопоставление друг другу живой речи разных районов Китая помимо того, что оно является неверным по существу, является вредным и политически, поскольку такое противопоставление может быть использовано в качестве своего рода лингвистического „аргумента“ в пользу дальнейшего расчленения Китая на ряд „независимых“ частей.

Другого рода ошибкой было бы безоговорочное отрицание необходимости в Китае некоей нормы общего литературного языка.

В этом смысле лозунг о необходимости борьбы против единого государственного языка нуждается в известном уточнении.

Необходимо бороться не против идеи общего литературного языка вообще, а, с одной стороны, против идеи насильственно навязываемого единого языка, и, с другой стороны, за всемерную демократизацию общелитературного языка.

Задача в этом отношении состоит в настоящее время в том, чтобы общелитературный язык из орудия угнетения сделать орудием национального объединения и национально-освободительной борьбы.

Лу Синь и вопросы китайской письменности

Исторически и фактически неправильным было бы с нашей стороны рассматривать движение за новый алфавит в Китае в отрыве от того, что было сделано в направлении реформы или замены иероглифической письменности за предшествующие годы. Как и движение за массовый язык, движение за распространение китайского нового алфавита является отражением и частью общего подъема национально-освободительной борьбы в Китае. Как и движение за массовый язык, движение за новый алфавит развивалось в условиях выявившейся к этому времени совершенно отчетливо безуспешности попыток развернуть массовое обучение грамоте на основе иероглифической письменности или разных суррогатов письменности алфавитной.

Последние десятилетия можно с известным основанием назвать годами непрерывных поисков таких форм и средств обучения, которые давали бы возможность в сравнительно короткий срок и с наибольшей эффективностью добиться хотя бы элементарной грамотности среди взрослого населения Китая. Эти поиски идут как в направлении того или иного приспособления для целей массового обучения иероглифики, так и в направлении использования для этих целей той или иной системы алфавита.

Говоря об иероглифике, следует в первую очередь указать на попытку установить какой-то иероглифический минимум,

с помощью которого можно было бы решить задачу массовой ликвидации неграмотности. Создается система так наз. 平民千字課 — „Тысяча знаков“, на основе которой разворачивается руководимая особым комитетом сравнительно широкая сеть школ, одно время издается специальная газета и т. п.¹

Однако обучение на основе 1000 знаков, несмотря на ряд лет работы, не оправдало себя. Требуя большой затраты времени и средств, оно давало весьма ограниченный, искусственно суженный круг знаний.

Один из критиков системы обучения на основе 1000 иероглифов (сам, кстати, составивший не менее, бесперспективную, разве только более сложную и надуманную систему „1100 основных знаков“) дает в своей статье, написанной в 1935 г.,² следующую, не лишенную справедливости оценку системы 千字課.

„... Эта книга все же обладает одним крупным недостатком. Именно тем, что круг (понятий), охватываемых ею, чересчур узок. Только и можно изъяснить самые простые человеческие мысли, и нельзя выразить все сложные изгибы человеческого чувства. Я постоянно ощущаю, что в этой системе имеется недостаточное количество знаков.

„Опять же (с помощью этой тысячи знаков) можно излагать только лишь обыденные дела, и невозможно обсуждать коренные и важнейшие вопросы борьбы за существование, вроде, например: «Экономическая агрессия империализма в колониях» или же «Международные противоречия и вторая мировая война». Вот подобные этим вещи изложить с помощью тысячи иероглифов почти нет никакой возможности. Человек,

¹ 新民 — The New Citizen. Издавалась в Пекине с ноября 1925 г. по июль 1926 г. Вышла также целыми комплектами по 25 номеров „新民合訂本“. В газете можно найти некоторый материал о деятельности Комитета по распространению народного просвещения, издаваемой им литературе и т. п. Характерно, что один из виднейших деятелей этой организации, крупный китайский педагог Тао Чжи-син является сейчас одним из активнейших руководителей движения за массовый язык и новый алфавит.

² — 一千一百个基本汉字使用法 (Метод употребления 1100 основных иероглифов). Статья в журнале 東方雜誌, том 32, № 14, Шанхай, июль 1935 г. Автор посвящает свою статью деятелям движения за распространение грамотности.

выучивший этот учебник в 1000 знаков, пожалуй, и сумеет вести запись ежедневных расходов или с трудом написать простое письмо. Однако чтение газет, книг, правительственных прокламаций, художественной литературы — все это ему будет недоступно. Поэтому результат изучения «1000 знаков» мало чем отличался от результата изучения в свое время в деревнях 千字文. Во время обучения человек еще кое-как знает отдельные иероглифы из учебника, может их прочесть, умеет и написать. Но проходит 3 года, 5 лет и так как случаев применить эти знания в повседневной жизни действительно слишком мало, то учащийся понемногу возвращает выученные знаки обучавшему его преподавателю“.

Тем не менее этот, как видим, в достаточной степени отрицательный, опыт не приостановил дальнейших попыток использовать иероглифику в качестве средства для массового обучения и ликвидации неграмотности.

Так, упоминавшийся уже автор статьи в журнале 東方雜誌, чью критику системы „тысячи знаков“, мы только что приводили, сам, под несомненным влиянием известной системы G. K. Ogden'a — „Basic English“ выдвигает свою систему „1100 основных иероглифов“, назначением которых должна быть именно ликвидация неграмотности среди взрослого населения, с тем чтобы человек мог, как этого хочет автор статьи, „читая книги и газеты, понимать все то, что мы ему будем говорить о политическом, экономическом и социальном положении, о крупных мировых событиях и т. п. И мы тем самым могли бы влиять на человека, руководить им, воспитывать и организовывать его, делая из него такого гражданина, каким мы его хотим видеть“.¹

¹ Цитированная статья, стр. 5. Хотя автор статьи и считает одним из крупнейших недостатков системы тысячи знаков то, что обучение по этому способу дает чрезвычайно ограниченный круг знаний, однако предлагаемый им самим способ вызывает в этом отношении еще большие возражения. Принцип автора здесь сводится к тому, что для каждой лексической категории слов надо оставить м и н и м у м необходимейших иероглифов, изгнав отсюда все синонимы, родственные по смыслу слова и т. п.

Так, предлагается в категории реальных понятий выкинуть вообще из употребления иероглиф 田 — поле, оставив одно только 地 — земля, и следовательно вместо, например 種田人, говорить во всех случаях единообразно 種地人. В категории терминов родства на ряду с другими

Этот же принцип отбора некоего минимума основных иероглифов, — но уже в аспекте единого национального языка (Го-юй), выдвигает и известный китайский лингвист Чжао Юань-жэнь в специальной статье под заглавием „*The Idea of a System of Basic Chinese*“.¹

Констатируя безуспешность попыток организовать массовое обучение на основе Го-юй,² Чжао Юань-жэнь в своей статье выдвигает ту же идею создания некоей базы, минимума национального языка (基本國語), лексический объем которого должен быть лимитирован языковыми формами Пекина. При этом Чжао Юань-жэнь высказывается за использование для „Basic Chinese“ алфавитного письма (романизации), однако в весьма ограниченных размерах, поскольку, по его мнению, „It is true that for tens if not hundreds of years to come we will have to keep on using the square characters, as our chief form of writing“.³

Таким образом итоги многолетней работы по организации массового обучения на основе общей языковой нормы и связанного с ней искусственно подобранного минимума иероглифов, оказались по сути дела безрезультатными.

Усилия направляются поэтому несколько в другую сторону, и мы видим, как на протяжении последних лет множатся, отнюдь не новые по своему замыслу и даже практическому применению, попытки реформы самой иероглифики, изменения самой внешней формы знаков в сторону ее упрощения. В надежде облегчить таким путем усвоение иероглифической письменности составляются целые серии проектов сокращенных по начертанию знаков, так наз. 簡体字, 手頭字 и т. п.

откидывается и знак 哥 — старший брат. Посему предлагается вместо фразы 他是我的哥哥 — „Он мой старший брат“ писать 我是他弟弟 — „Я его младший брат“ и т. п. Нет необходимости разбирать эту надуманную схему во всех ее деталях. Можно только указать на ее полнейшую непригодность и противоречия ее как с самими фактами китайского языка (в частности диалектологией), так и с потребностями реальной жизни.

¹ V. R. Chao 趙元任 „The Idea of A System of Basic Chinese“ Quarterly Bulletin of Chinese bibliography, vol. 1, № 4, декабрь 1934, стр. 171—181.

² „Under such conditions, it is not at all surprising that the attempt at teaching the National Language throughout the nation has made so little headway, in fact it is strange that it has made as much as it has“. Цит. статья, стр. 173.

³ Цит. статья, стр. 175.

И хотя уже в 1934 г. Ли Цзинь-си, известный и притом довольно консервативный китайский лингвист и ревностный поборник Го-юй и Ромацзы, должен был с горечью констатировать полную бесплодность этих попыток,¹ тем не менее и в 1935 г. и позднее мы являемся свидетелями все новых и новых проектов реформы иероглифики — и не только проектов, но даже правительственных распоряжений о введении известного числа упрощенных по написанию знаков в качестве обязательных для употребления в учебниках для начального и массового обучения.² Однако ясно, что и эти и еще более фантастичные проекты создания некоей интердиалектальной, фонетико-иероглифической системы письма,³ все они в лучшем случае являются паллиативами и ни в коей мере не могут способствовать решению все более и более настоятельной пред лицом углубляющегося национального кризиса задачи — ликвидации неграмотности среди широких масс китайского народа.

Чрезвычайно показательны для сложившейся к этому времени (1933—1935 гг.) обстановки те идеологические сдвиги, которые претерпевает и романизация. Если по мысли своих инициаторов романизация должна была явиться не более как подсобным средством к изучению иероглифики, одним из способов, с помощью которого иностранец и китаец не-северянин могли бы усвоить стандартное произношение Го-юй, то в последние 2—3 года в этом отношении намечаются совершенно определенные сдвиги. Романизация выдвигается уже в значительной мере не как подсобное к иероглифике орудие, а как самостоя-

¹ См. статью Ли Цзинь-си 大眾語文的工具—簡体字.

Журнал 社會 („Общество“), т. I, № 5, октябрь 1934 г., стр. 10—14.

² См. статью „Chinese Language reforms“ *Quarterly Bulletin of Chinese bibliography*, vol. II, № 3, сентябрь 1935 г., стр. 74.

³ Такова, например, система „New writing“ (新字), составленная неким Линь Фын'ом (林峰). В упоминавшейся выше статье „Chinese Language reforms“ системе Линь Фына дается следующая достаточно выразительная характеристика: „His new writing has very little chance of being adopted, but the system is very original and interesting“. См. там же библиографию других работ Линь Фына, как например, „New Writing Dictionary — 新字典“, „Phonology of New Writing — 新字音譜“, „The thousand character lesson in new writing — 新字千字文“.

тельная система письменности для масс, не имеющих средств и возможности овладеть иероглификой.

„Более 80% крестьян и рабочих, читаем мы в предисловии к одному из учебников *Ромацзы*, имеют только язык, но не имеют письменности. Однако, с какой бы стороны на это ни посмотреть, с точки ли зрения житейских интересов каждого человека, с точки ли зрения перестройки общества, без того, чтобы этот народ имел какую-либо форму письма, обойтись нельзя.

„... Возможно, что найдутся люди, которые спросят: «Не лучше ли дать возможность изучать иероглифы? — К чему обязательно изучать романизированный алфавит?» Мы можем на это сказать: «Абсолютно невозможно. Не говоря уже о том, в какой степени пригодной для употребления оказывается такая письменность, как иероглифика, когда ее выучишь, — но даже если говорить только о трудностях ее изучения, то в народе никто в настоящее время не обладает столь крупными средствами и столь большим временем, чтобы изучать иероглифы»¹.

Автор другого учебника романизации, критикуя тех, кто вопрос о реформе письменности рассматривает прежде всего с точки зрения того, как бы сохранить иероглифику, имеющую многовековую историческую традицию, тоже настойчиво подчеркивает необходимость использовать романизацию как вполне самостоятельную форму письменности намного, по сравнению с иероглифами, облегчающую распространение грамотности в Китае.²

Однако романизация, хотя она несомненно и является более прогрессивной формой письменности, чем иероглифика, не могла добиться в своем осуществлении сколько-нибудь удовлетворительных результатов. И это главным образом потому, что романизация была самым тесным образом связана с той же

¹ 國語羅馬字入門 составил 蕭迪忱, Бейпин, 1932 г. Предисловие 王玉川, 我們為什麼提倡國語羅馬字¹ [Почему мы агитируем за Гоюй Ромацзы], стр. 8—11.

² Swoyeu Romatzyh chubuh Jeangyih. Составил 李仲吟, Тяньцзинь, 1933 г. Предисловие 寫這本小書的大意 [Основная идея составления этой брошюры], стр. I.

иероглификой¹ и иероглифическим языком. Исходя из целого ряда теоретически неверных предпосылок, создатели романизации переносили в алфавитное письмо сложность иероглифического языка, и, кроме того, ввели тональные обозначения, создавая тем самым чрезвычайно трудную для усвоения и практического использования систему письменности.

Таким образом сложившуюся в Китае к 1934 г. языковую обстановку можно охарактеризовать как весьма бесперспективную. Во всяком случае к этому времени для передовой интеллигенции становится совершенно ясной эфемерность и недостаточность всех обрисованных выше попыток найти какое-либо действенное средство для скорейшего развития в стране грамотности, культуры и просвещения.

Вот в такой сложной обстановке появляется в Китае в 1934 г. созданная трудящимися китайцами СССР и успешно развивающаяся в Дальневосточном крае новая латинизированная китайская письменность.

Это письменность, созданная для широких масс, простая по своей форме, избегающая сложности тональных обозначений и поэтому легко доступная усвоению. Одним из решающих условий успешного распространения латинизированного алфавита в Китае являлось в частности именно то, что латинизация в своих основных принципиальных предпосылках исходила из необходимости самостоятельного применения этого алфавита к разным языковым группам Китая. Разрабатывая систему латинизации применительно к севернокитайскому языку (язык большинства китайского населения СССР), инициаторы создания нового китайского алфавита, а вслед затем и I Конференция по латинизации, этот алфавит утвердившая, не только не ставили своей задачей механическое перенесение этого

¹ Цитированная работа, стр. I—III. Автор книжки, считающий романизацию последним и окончательным итогом реформы письменности в Китае за несколько десятков лет, вынужден признать, что за пятилетие (1928—1933 гг.), прошедшее со времени опубликования министерством народного просвещения романизированного алфавита, успехи в его распространении чрезвычайно малы. Одну из причин этого **李仲吟** видит, как мы уже указывали, в том, что при разрешении этого вопроса исходят не столько из реальной потребности создать наиболее удобное орудие для получения знаний, сколько из предвзятой мысли о необходимости сохранения связи с исторической традицией иероглифики.

алфавита и его языковой базы на другие районы Китая, но, наоборот, самым решительным образом высказались против принципа насильственного всеобщего обязательного единого государственного языка.¹

Если мы вспомним теперь, что одним из основных лозунгов движения за *Да-чжун-юй* являлось требование максимального использования всего богатства живой народной речи разных языковых групп Китая и оформление ее в письме с помощью несложного и легкого для усвоения алфавита, то вряд ли покажется для нас неожиданным тот факт, что среди сторонников дальнейшей демократизации китайского языка и вообще среди прогрессивной китайской интеллигенции китайский новый алфавит встретил к себе самое положительное отношение.

Ясно, конечно, и то, что Лу Синь, который был одним из вдохновителей движения за *Да-чжун-юй*, не колеблясь, становится активнейшим сторонником нового алфавита, справедливо видя в нем надежнейшее средство для подъема культурного уровня широких масс китайского народа.

Ознакомившись с самим алфавитом и изданными на нем учебными пособиями, Лу Синь сразу же, в декабре 1934 г., пишет статью-письмо под заглавием „По поводу новой письменности“.² Вот как начинается эта статья:

„Пока не узнаешь фонетической системы письма, то не можешь представить себе всю трудность письма изобразительного. Пока не увидишь новую латинизированную письменность, то очень трудно ясно и точно определить докучливую сложность, непрактичность и бесперспективность всех доселе имевшихся *Чжу-инь цзы-му* и *Ромацзы*. Эти квадратные знаки — иероглифы поистине являются орудием политики одурачивания народа. Не только широкие массы трудящихся не имеют возможности их учить и изучать, но даже среди обладающих и средствами и возможностями привилегированных классов есть много и много таких, кто потратил 10—20 лет и в конце концов ничему не научился“.

Из этого Лу Синь делает весьма резкий вывод о том, что „иероглифическая письменность является одним из злокачественных“.

¹ См. резолюцию I Конференции по латинизации, § 9. Опубликована отдельным изданием в 1931 г. Сюда полностью относятся замечания, сделанные нами выше (см. стр. 65—67) по вопросу о едином языке.

² 魯迅 — 關於新文字

ственных наростов на теле широких трудящихся масс китайского народа, наростом, в котором затаились все болезнетворные бактерии. Если не уничтожить иероглифику, то в результате остается только погибнуть самим“.

В другом месте Лу Синь высказывается по этому вопросу еще более резко и определенно:

„Если иероглифическая письменность не будет уничтожена, то Китай погибнет. Ибо своей чрезвычайной трудностью иероглифика отделяет большинство китайского народа от передовой культуры, и китайский народ таким образом никак не может интеллектуально вырасти, понять испытываемое им угнетение и общегосударственный национальный кризис. Я сам один из тех, кто глубоко испытал всю горечь страданий, причиняемых иероглификой, и поэтому я решительно стою за то, чтобы иероглифику заменить новым алфавитом“.¹

Летом 1936 г., когда практическая работа по применению китайского нового алфавита уже успешно развернулась во многих городах и районах Китая,² Лу Синь пишет еще одну специальную статью под названием „Иероглифика и латинизация“. В этой, выше уже цитировавшейся статье,³ Лу Синь дает несколько более образную, но от этого не менее уничтожающую характеристику иероглифики:

„Китай дошел также до того, что в эпоху, когда в других странах уже создают искусственный дождь, мы, оказывается, все еще (для ниспослания дождя) поклоняемся драконам и змеям, обращаемся к духам. Я думаю, что если мы все еще хотим продолжать жить, то самое лучшее, это попросить иероглифы стать жертвой за нас“.

Одним из решающих, по мнению сторонников иероглифики, доводов в пользу того, что никак нельзя отказаться от

¹ Цитирую по заметке „*Lu Sin lun sin wenz* „Лу Синь о новом алфавите]“, помещенной в газете *Yngxu sin wenz*, № 4 (157) от 23 I 1937 г.

² По тем в значительной степени отрывочным сведениям, которыми мы располагаем, можно говорить о развертывании обучения на новом алфавите в Бэйпине, Тяньцзине, Шанхае, Сиани, Гуйлине и других менее крупных центрах и районах Китая. Равным образом выработаны проекты применения нового алфавита к языкам Шанхая, Кантона, Амоя и других районов. По своему количеству созданная в Китае на новом алфавите литература, пожалуй, не меньше того, что на новом алфавите издано в СССР.

³ [漢字和拉丁化], см. стр. 63 настоящей статьи.

иероглифики и иероглифического языка, является, как известно, аргумент о необходимости сохранить преемственность всей многовековой традиции китайской культуры. Лу Синь едко высмеивает этот „довод“, говоря в заключение своей статьи:

„Совершенно верно, иероглифическая письменность, это издревле завещанная нам драгоценность. Однако древность наших предков еще большая, чем у иероглифов. Поэтому мы сами в еще большей степени, чем иероглифы, являемся издревле завещанной драгоценностью.

„Нам ли стать жертвой иероглифики, или же пожертвовать иероглифами ради нас самих?

„На этот вопрос всякий человек, если он только не потерял еще душевного равновесия и не сумасшедший, может сразу же дать ответ“.

— Иероглифика должна быть уничтожена, — говорит Лу Синь и при этом добавляет, — заменой иероглифики должен обязательно быть новый алфавит¹.

Целый ряд положительных высказываний Лу Синя о новом алфавите выше уже приводился. Но эти высказывания не являются у Лу Синя голой неаргументированной декларацией. Уже в своей первой статье, сразу же после ознакомления с китайским новым алфавитом, Лу Синь подробно останавливается на его положительных сторонах:

„В прошлом тоже были ученые, вырабатывавшие алфавитную письменность... Однако все эти знаки были очень сложны и запутаны, ибо ученые никак не могли отрешиться от чиновничьего языка, тональных обозначений, и к тому же эти алфавиты, как творчество людей ученых, с необходимостью должны были иметь в себе дух учености. Новый алфавит, который мы на этот раз имеем, он-то далеко проще и к тому же в соответствии с реальной жизнью легок для изучения и полезен. Пользуясь этим алфавитом, можно обращаться ко всем, слышать то, что все говорят, понимать правильные идеи, изучать технику. Это именно и есть наше собственное дело“.

И в том воззвании о латинизации, которое, кроме Лу Синя, было подписано еще рядом других виднейших писателей, уче-

¹ Ясно конечно, что сейчас ни теоретически, ни практически не ставится вопрос о немедленной и полной замене иероглифики алфавитом. Речь в настоящий момент идет о сосуществовании обеих систем письма.

ных и общественных деятелей Китая, тоже вполне отчетливо и ясно отмечались несомненные плюсы китайского нового алфавита. То, что он, во-первых, прост по своей форме, поскольку не требует тональных обозначений, и, во-вторых, что он рассчитан на применение не к одному только определенному китайскому диалекту.

Однако одного этого было бы, конечно, недостаточно. Успешное продвижение нового алфавита в Китае за последние три года имеет под собой еще более глубокие социальные причины. Они в настоящей статье уже неоднократно упоминались. Движение за новый алфавит имеет самое непосредственное отношение к движению за национальное спасение и отпору японской агрессии. И не случайно поэтому, что все те организации и объединения, которые борются под лозунгами спасения родины и отпора японскому империализму, одним из пунктов своей программы выдвигают распространение латинизации. Это требование выдвигает „Ассоциация культурных кругов Китая для национального спасения“ в § 6 своей программы:¹

„Фонетическим новым алфавитом легко овладеть, им легко писать, его легко изучить. Необходимо немедленно же принять этот алфавит, сделав его основным средством всеобщего обучения масс“.

О том же говорится и в пятом пункте „Программы по спасению страны и сопротивлению Японии“, опубликованной „Все-китайской ассоциацией национального спасения“:

„Конгресс считает, что распространение нового алфавита является средством всеобщего обучения. Необходимо всемерно добиваться того, чтобы этот алфавит получил всеобщее распространение“.

Эти требования нашли свое полное отражение в реальной действительности последних лет, свидетельствующей о все большем и большем распространении латинизации в Китае. Значение китайского нового алфавита сильно возрастает в условиях осуществления провозглашенной Китайской коммунистической партией политики национально-оборонительного просвещения. В этих условиях китайский новый алфавит должен

¹ Подробно см. статью 蕭三, 談談新文字, помещенную в №№ 53—54 издаваемой в Париже китайской газеты 救國時報, сентябрь 1936 г.

оказать серьезную помощь делу ликвидации неграмотности среди широких масс китайских трудящихся, подъему их национального сознания и тем самым способствовать победному завершению их борьбы с японским империализмом. Как и в деле успешного завершения перехода на латинизированный алфавит в других странах, большое значение в продвижении латинизации в Китае имеет положительный опыт подобной же работы в Советском Союзе.¹

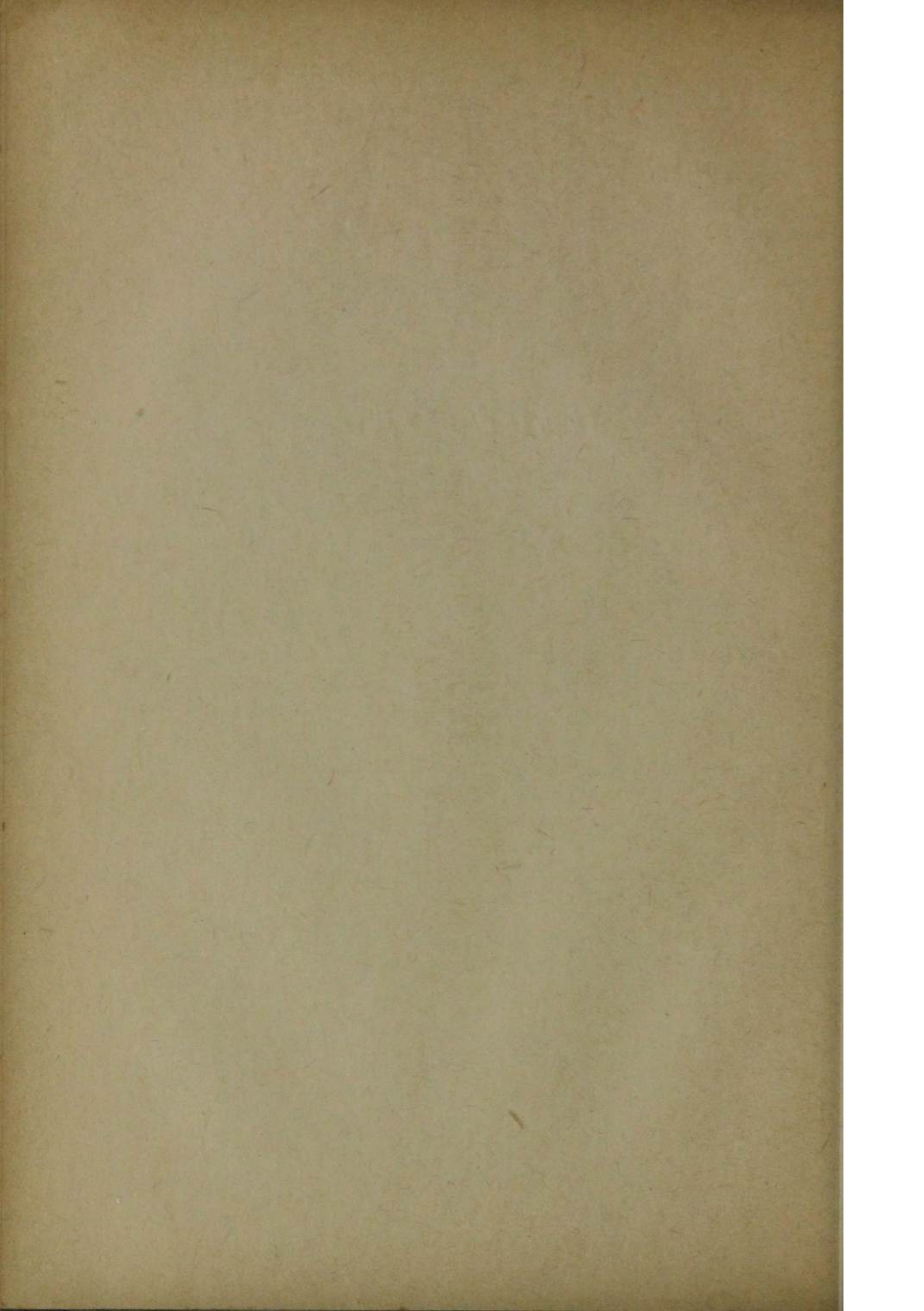
Лу Синь был горячим другом Советского Союза, и, как отзывчивый и бескорыстный друг, он в нужный момент оказал нужную поддержку зародившемуся среди китайских трудящихся СССР большому делу — делу создания письменности самих трудовых масс китайского народа. Эта поддержка никогда не будет забыта, и порукой тому само творчество Лу Синя, которое сейчас, благодаря алфавитной письменности, становится доступным широчайшим слоям китайского народа.

А. Ш п р и н ц и н.

¹ Примером может служить помещенная в январском (1937 г.) номере шанхайского журнала 宇宙風 статья 藻孫蘇聯境內的中國人 [Китайцы в Сов. Союзе], где дается самая положительная оценка культурно-массовой работы среди китайского и дунганского населения СССР, в частности практической работы по латинизации китайской и дунганской письменности.

II

ПЕРЕВОДЫ



ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ А-КЕЯ

I

ПРЕДИСЛОВИЕ

Вот уже и не год и не два, как я собираюсь написать подлинную историю А-Кея. С одной стороны, я хотел это сделать, с другой — колебался, из чего достаточно очевидно, что я не из тех, кто „создает направления“. Ибо в старину кисти бессмертных художников передавали потомству образы бессмертных людей, эти люди оставляли после себя произведения, а произведения, в свою очередь, сохраняли потомству их имена, но что от чего зависело — постепенно перестало быть ясным. Что же касается моего желания написать об А-Кее, то словно какая-то сверхъестественная сила понуждает меня к этому. Однако, желая написать это, очень даже „смертное“, сочинение, не успел я взяться за кисть, как сразу же наткнулся на непреодолимые затруднения.

Первым было заглавие произведения. Еще Конфуций сказал: „Если название не соответствует, то и слова не послушны“. На это следует обратить особое внимание. Заглавий для исторических трудов весьма много: биография, автобиография, эзотерическая биография, экзотерическая биография, особая биография, семейная хроника, сокращенная биография...¹ Жаль только, что все они не подходят.

„Биография“? Но это мое произведение не годится помещать, наравне с биографиями знаменитостей, в основную историю. „Автобиография“? Но, ведь, я не А-Кей. Если сказать,

¹ Термины специальных жанров в китайской историографической литературе.

что это „экзотерическая биография“, то где же тогда эзотерическая. Если же все-таки обозначить ее как эзотерическую, то ведь А-Кей вовсе не святой, для которых они пишутся. „Особая биография“? Но А-Кей никогда не удостоивался „Высочайшего указа“ президента, поручившего Историографической комиссии составить его жизнеописание.

Хотя и говорят, что в исторических анналах Англии не существует особых биографий игроков, однако знаменитый писатель Диккенс все же написал такую историю. Но то, что разрешается столь известному писателю, никак не позволительно таким, как я.

Следующей идет „семейная хроника“. Но я вовсе не знаю, есть ли у меня общие предки с А-Кеем, притом я никогда не удостоивался визита его сыновей и внуков.

Быть может, „сокращенная биография“? Но, ведь, у А-Кея не было другой, полной. Одним словом, это будет скорее „личной биографией“, жизнеописанием. Но в виду особенностей изложения, из-за грубости моего стиля и языка, какая бывает у „торговцев, развозящих по улицам сою“, ¹ я сомневаюсь, можно ли назвать мое произведение даже так.

И вот я решил взять два слова: „подлинная история“ — из любимой фразы тех писателей, которые не принадлежат ни к трем религиозным школам, ни к девяти философским течениям, ² и обычно пишут: „Довольно праздных слов, перейдем к подлинной истории“ ³ — и сделал их заглавием. Если же это внешне похоже на то заглавие, которое присваивали в древности сочинениям других жанров, например: „Подлинная история каллиграфического искусства“, — то что ж поделаться?..

¹ Это выражение взято Лу Синем из знаменитого письма консервативного профессора Линь Цинь-наня, обращенного к ректору Пекинского университета Цай-Юань-пэю, в котором проф. Линь протестует против перехода литературы на живой язык, в чем и заключалась литературная революция 1918/19 г., во главе которой стоял Цай Юань-пэй. Одним из аргументов Линь Цинь-наня было замечание, что литература вульгаризуется и что тогда даже „торговцы, развозящие по улицам в тачках сою“, начнут писать. Лу Синь, стоявший на стороне реформаторов, не упускает случая уколоть противников из консерваторского лагеря.

² Три религиозные школы, т. е. конфуцианство, даосизм и буддизм, и девять философских течений, т. е. ряд философских школ раннего феодального периода, включавших в себя всю тогдашнюю науку.

³ Эта фраза — характерный прием народных китайских романов.

Мое второе затруднение состояло в том, что, согласно традиции, каждое жизнеописание начинается обыкновенно словами: „Такой-то, по прозвищу такой-то, оттуда-то родом...“. Но я не знал даже фамилии А-Кея.

Однажды мне показалось, что его фамилия Чжао, но на следующий же день это опять стало сомнительным. Дело в том, что когда сын почтенного Чжао добился ученой степени кандидата и эта новость, как звон гонгов, достигла деревни, А-Кей, который только что выпил две чашки дешевого желтого вина, заявил, жестикулируя и притоптывая, что это событие весьма почетно и для него, так как он, в сущности, однофамилец почтенного Чжао, из одного с ним рода, и что, если разобраться в родстве подробнее, так он на три степени родства старше, чем кандидат. При таком заявлении, присутствовавшие почувствовали некоторое уважение. Кто же мог знать, что на следующий день старшина вызовет А-Кея в дом почтенного Чжао? Едва завидев его, почтенный Чжао весь вспыхнул и, задыхаясь, крикнул:

— А-Кей, дрянь ты этакая!.. Ты говоришь, я из твоего рода?

А-Кей не раскрывал рта.

Чем больше почтенный Чжао на него глядел, тем больше раздражался и, подскочив на несколько шагов, продолжал:

— Как ты смеешь нести такую чепуху! Как это я могу быть из одного рода с таким, как ты! Разве тебя зовут Чжао?

А-Кей молчал, подумывая, как бы обратиться вспять, но почтенный Чжао, подскочив еще ближе, дал ему пощечину.

— Как ты смеешь называться Чжао! Разве ты можешь быть достойным такой фамилии?!..

А-Кей, не пытаясь доказать, что его фамилия действительно Чжао, только потирал левую щеку и, наконец, вышел со старшиной вон. Там он получил должное „внушение“ и от него и отблагодарил его за это двумястами медяков на вино.

Узнав об этом, все решили, что А-Кей совсем дурак и сам напросился на пощечину. Вряд ли его фамилия Чжао; но даже если это и так, то, раз уже существует в селе один почтенный Чжао, все равно не следовало болтать глупости. После этого случая никто не дал себе труда заняться его родословной, и я в конце концов так и не знаю, что за фамилия была у А-Кея.

Третье затруднение состояло в том, что я не знал, как пишется его имя. При жизни все звали его А-Кей, а после смерти называть так перестали. Где ж тут быть „древним записям на бамбуке и полотне?“¹

Если же, все-таки, поставить вопрос об этом, то ведь данное сочинение появляется впервые, и, значит, сразу же возникает означенное затруднение.

Я уже подробно обдумывал, как пишется это самое А-Кей: через знак „кей“, обозначающий „лунное дерево“, или через „кей“, обозначающий „благородство“.

Если бы его прозвище было „Юэ-тин“ — „лунный павильон“, или если бы он справлял день своего рождения в августе, я, конечно, написал бы его имя через знак „кей“ в значении „лунного дерева“.² Но ведь у него не было прозвища (может быть, и было, но никто его не знал), а кроме того, никогда не рассылались извещения по случаю его рождения, как принято, так что писать его имя через „кей“ в значении „лунного дерева“ было бы совершенно произвольно.

Вот если бы у него был старший брат или младший, по прозвищу А-фу — „богатый“, в таком случае, по аналогии, можно было бы написать его имя знаком „кей“, означающим „благородство“. Но ведь он был одинок и, значит, писать так — тоже неосновательно.

Другие знаки на звук „кей“ еще менее обоснованы.³

Когда-то я спрашивал об этом талантливый кандидат наук, сына почтенного Чжао. Но кто бы мог ожидать, что такой отменно-ученый человек, как он, тоже окажется несведущим! Правда, он добавил, что исследовать нужный мне вопрос нельзя потому, что с основанием журнала „Новая молодежь“

¹ Т. е. прямым свидетельствам древнего происхождения.

² Как известно, помимо имени, китайцы имеют еще второе имя или прозвище, обычно даваемое по ассоциации с первым именем. При наличии „прозвища“ „лунный павильон“ естественно возникает ассоциация со словом „лунное дерево“ „кей“, так как и то и другое понятия исходят из народных сказаний о волшебном павильоне на луне, в садах которого растет лунное дерево.

³ При односложности китайского языка и иероглифическом письме, на одно и то же слово, произносимое одинаково, но с различным значением, существует несколько иероглифических начертаний, благодаря чему возможна богатейшая игра слов, основанная на различном начертании знаков в применении к одинаково произносимому комплексу.

введены в обиход иностранные слова, и от этого национальная культура погибла.

Тогда я поручил одному из моих земляков обследовать судебные документы, связанные с делом А-Кей. Только восемь месяцев спустя я получил письмо с утверждением, что в документах нет человека с именем, похожим на „А-Кей“. Не знаю, действительно ли там не было этого имени, или он не сумел выяснить его, — во всяком случае других способов у меня больше нет.

Мне очень стыдно, но если даже ученый кандидат не знает, то что же можно требовать от меня? Опасаясь, что наша новая китайская азбука¹ еще широко не освоена, я решил применить европейские буквы и на основании общепринятой английской транскрипции обозначить его имя так: А-Q, что звучит как А-Кей. Правда, это значит слепо следовать за „Новой молодежью“, и мне несколько неудобно, но раз даже отменно-ученый кандидат не мог мне помочь, то какой другой был у меня выход?

Четвертое затруднение — вопрос о родине А-Кей. Если бы его фамилия была Чжао, то на основании обычая согласовывать имена с названиями провинций, можно было бы обратиться к справочнику — списку фамилий по провинциям, где говорится, например, „Лун-си, родом из Тянь-шуя“. Жаль только, что фамилия его не совсем достоверна; поэтому нельзя решить, где его родина. Хотя он больше всего проживал в деревне Вэй-чжуан [„Безыменной“], но часто бывал и в других местах, так что нельзя сказать, что он вэйчжуанец. Если же написать „родом из Вэй-чжуана“, то это будет противоречить точному историческому методу.

Утешением для меня является то обстоятельство, что по крайней мере приставка „А“ вполне достоверна. В ней нет никакой ошибки, и ее можно рекомендовать вниманию ученых исследователей.² Что касается остального, то с такой неглубо-

¹ Речь идет о так наз. чжу-инь цзы-му — фонетической азбуке, изобретенной китайцами для учебных целей. Эта азбука, неудачно составленная, имела малый успех, особенно теперь, когда вводится латинизированный алфавит.

² Приставка „А“ к именам, практикующаяся главным образом в деревнях, иногда соответствует нашему суффиксу „ка“ в именах, например — Гришка, Ванька.

кой эрудицией, как моя, выяснить это невозможно. Остается одна надежда, что „помешанные на истории и археологии“ последователи господина Ху Ши-чжи¹ смогут, пожалуй, в будущем открыть много новых данных, но к тому времени моя „Подлинная история А-Кея“, боюсь, будет предана забвению.

Все вышесказанное можно считать предисловием.

II

КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ БЛЕСТЯЩИХ ПОБЕД

Не только фамилия и место рождения А-Кея были неизвестны, но даже и его прошлое таилось во мраке. Причина лежала в том, что жители Вэй-чжуана требовали от него только работы, потешались над ним, но никогда не интересовались его прошлым. Сам А-Кей тоже о нем не рассказывал, и тогда только, когда ругался с другими, то таращил глаза и говорил:

— Мои предки много важнее твоих! А ты что за птица?..

А-Кей не имел семьи и жил в местном храме Земледелия. У него не было определенных занятий, и он исполнял поденные работы для других. Нужно было косить пшеницу — он косил; нужно было толочь рис — толоч; надо было грести — греб... Если работа затягивалась, он временно жил в доме работодателя, но как только кончал ее, сейчас же уходил.

Поэтому, когда людям было нужно, они вспоминали об А-Кее, вернее, вспоминали об его работе; но уж никак не об его прошлом. Когда же работа кончалась, о нем быстро забывали. Тем более о его прошлом и заслугах.

Только один раз какой-то старик одобрительно заметил: — А-Кей — мастер работать!

Все это время А-Кей, обнаженный по пояс, ленивый и тощий, стоял перед ним. Никто не мог догадаться, искренно это было сказано или в насмешку, но А-Кей был весьма доволен.

О себе он был очень высокого мнения, и все жители Вэй-чжуана ничего не значили в его глазах. В особенности это касалось двух грамотеев; по его мнению, ради них не стоило

¹ Проф. Ху Ши-чжи — один из деятелей литературной революции, специально посвятивший себя изучению истории и археологии. В одной из своих работ Ху Ши-чжи сам обмолвился фразой о том, что он „помешан на истории и археологии“.

даже заставить себя улыбнуться. Оба эти грамотея в будущем могли, пожалуй, превратиться в ученых кандидатов. Почтенный Чжао и почтенный Цянь пользовались уважением односельчан не только потому, что были богаты, но еще и потому, что были отцами этих грамотеев. Один А-Кей в душе не высказывал особого уважения, думая: „Мой сын мог бы быть поважнее“. Кроме того, А-Кей несколько раз бывал в городе, и это еще более усилило его сомнение, хотя он в то же время весьма презирал горожан. Например, деревянное сиденье, в три аршина длиной и три вершка шириной, вэйчжуанцы называли просто „лавкой“, и он тоже называл его так, а в городе это называли „скамьей“, и он думал: „Это не так... вот смешно!“ К большей рыбе, поджаренной на масле, все вэйчжуанцы прибавляли луковые перья в полвершка длиной, а горожане заправляли рыбу мелконарезанным луком, и он думал: „Это тоже неправильно... вот смешно!“

Но ведь вэйчжуанцы были настоящей деревенщиной, не выдавшей света. Они даже не видели жареной рыбы в городе!

А-Кей со своими знаменитыми предками, высокими знаниями да притом еще настоящим умением работать, в сущности был почти совершенным человеком. Жаль только, что он обладал кой-какими внешними недостатками.

Наиболее смущающим было то, что на голове у него находились плешины от неизвестно когда появившейся парши. Хотя они и были его собственные, но, по его мнению, они, пожалуй, ничего не прибавляли к его достоинству. Поэтому он запрещал произносить при нем слово „плешь“, равно и все другие слова, сходные по звуку; в дальнейшем он расширил эту сферу, и слово „блеск“ тоже стало запретным. Как только это запрещение нарушалось, безразлично — умышленно или нет, А-Кей краснел во всю свою плешь и приходил в ярость, а затем, смотря по противнику, либо ругал его, либо избивал, если тот был слабее... Впрочем, гораздо чаще в таких случаях, по неизвестной причине, всегда страдал сам А-Кей.

Поэтому он постепенно переменил тактику, которая в общем свелась к гневным взглядам. Кто бы мог ожидать, что после того, как А-Кей избрал систему гневных взглядов, вэйчжуанские бездельники найдут еще больше удовольствия в насмешках над ним. Как только они его, бывало, завидят, тотчас же сделают изумленный вид:

— Хей! Посветлело...

А-Кей приходил в ярость и мерил их гневным взглядом.

— Должно быть, здесь лампа, — продолжали они бесстрашно.

А-Кею не оставалось ничего другого, кроме возражения:

— Где вам до такой... — словно в это время на голове его была не простая, а какая-то необыкновенно прекрасная плешь.

Выше уже упоминалось, что А-Кей был чрезвычайно знающим; он мгновенно соображал, что это явилось бы нарушением его запрета, и поэтому не заканчивал фразы.

Но бездельники не унимались, продолжали его травить и, в конце концов, доводили дело до драки. Внешне А-Кей терпел поражения: его противники хватали его за рыжую косу, стукали раз пять головой о стенку, а затем, довольные своей победой, удалялись. А-Кей с минуту стоял, размышляя... „А в общем я побит мальчишкой... Нынешний век никуда не годится...“ и тоже удалялся с сознанием полной победы.¹

Все, что А-Кей думал, он в конце концов разбалтывал. Поэтому задиравшие его очень скоро узнали о подобном способе духовных побед. После этого каждый раз, накручивая его рыжую косу, они сначала внушали ему:

— А-Кей, это не мальчишка бьет отца, а человек скотину. Повтори-ка сам: человек бьет скотину!

А-Кей, обеими руками ухватив собственную косу у основания и наклонив голову, говорил.

— Это, по-твоему, хорошо бить мошку? А я — мошка. Ну, отпустишь?

Но, несмотря на „мошку“, бездельники не отпускали его, норовя стукнуть раз шесть головой о ближайший предмет, и только после этого, вволю натешившись, уходили, полагая, что на этот раз А-Кей посрамлен.

Но не проходило и десяти секунд, как А-Кей опять уже преисполнялся сознанием одержанной победы. Он чувствовал, что он единственный в своем унижении; остальные слова шли не в счет, и оставалось только слово „единственный“. А разве лауреат государственных экзаменов — „юань-чжуань“ — тоже не был „единственным“? Что они воображают!

¹ При патриархальном строе в семье оскорбление старшего младшим или отца сыном навлекало позор на голову сына и возвеличивало оскорбленного.

После столь славных побед над своими врагами А-Кей радостно спешил в харчевню, проглатывал несколько чашек вина, шутил [с другими, ругался и, снова одержав победу, навеселе возвращался в храм Земледелия и погружался в сон.

Когда у него бывали деньги, он сейчас же шел играть.

Кучка людей сидела на корточках на земле, и А-Кей с потным лицом протискивался в середину. Голос его бывал особенно пронзительным, когда он кричал:

— На „Зеленого дракона“ четыреста медяков!

— Хе!... Ну, открывай!

— „Небесные ворота“, „Углы“... Кто ставил на „середину“ и на „человека“ — пусто! Деньги А-Кея взяты!

— На „середину“ — сто! Сто пятьдесят!..

И под эти возгласы деньги А-Кея постепенно переходили за пояса других людей с потными лицами. В конце концов он протискивался обратно и смотрел, стоя позади, волнуясь за других, пока все не расходилось; тогда и он неохотно возвращался в храм, а на следующий день с заспанными глазами отправлялся на работу.

Ведь правильно говорится: „Старик потерял лошадь, но как знать — может быть, это к счастью“.¹ А-Кей, на несчастье как-то раз выиграв, потерпел, в конце концов, неудачу. Это случилось вечером, в праздник местного божества.

По обычаю в этот вечер были устроены театральные подмостки, а рядом с ними, тоже по обычаю, было расставлено много игральных столов. Гонги и барабаны театра доносились до ушей А-Кея словно откуда-то издалека. Он слышал только выкрики банкомета. Он выигрывал и выигрывал. Медяки превращались в серебряную мелочь, серебро превращалось

¹ Старая китайская пословица, основанная на рассказе о том, как у одного старика, проживавшего [вблизи] границ Китая, пропала лошадь. Когда соседи стали выражать ему свое сожаление, [он ответил: „Как знать, может быть, это к счастью“. Действительно, вскоре лошадь прибежала обратно, приведя с собой другую лошадь. Но, когда соседи стали поздравлять старика с удачей, он ответил: „Как знать, может быть, это к несчастью“. Вскоре сын старика, объезжая новую лошадь, упал с нее и сломал себе ногу. Опять соседи явились выразить свое сожаление, но старик опять заявил: „Как знать, может быть, это к счастью“. Через год варвары напали на Китай, вся молодежь была забрана в солдаты, и большинство погибло на войне. Сын же старика уцелел из-за своей сломанной ноги.

в да-яны,¹ потом они образовали целую кучу. Радость его была необычайна:

— Два да-яна на „Небесные ворота“!

... Он не понял, кто с кем и из-за чего разодрался. Ругань, удары, топот — все смешалось в потемневшей голове, и когда он приподнялся, не было ни столов, ни людей, и только на теле чувствовалась боль, словно от чьих-то ног или кулаков. Несколько человек удивленно смотрели на него. Словно что-то потеряв, он двинулся к храму, а когда успокоился, понял, что его кучи денег как не бывало.

Съехавшиеся на праздник игроки в большинстве были нездешние. Где уж там было их искать!.. Светлая, блестящая куча денег, притом его собственная — ее не было. Сказать, что она унесена мальчишками, — это не утешало; сказать, что сам он — мошка, утешало также мало.

На этот раз он почувствовал горечь поражения.

Но в тот же миг оно превратилось в победу!

Правой рукой А-Кей с силой дал себе пощечину, и тупая боль восстановила его душевное равновесие, словно бывший был он сам, а битый — другой он. Через мгновение этот „другой он“ стал просто другим человеком; и, хотя все еще ощущая боль, он, совершенно успокоенный и довольный, улегся и заснул.

III

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ БЛЕСТЯЩИХ ПОБЕД

Хотя А-Кей и одерживал постоянно победы, но это ясно обнаружилось после того, как он получил пощечину от почтенного Чжао.

Отсчитав старшине двести медяков на вино, он улегся, рассерженный, но потом подумал: „Нынешний век прямо никуда не годится — мальчишки бьют отцов...“ Тут его мысли перешли к почтенному Чжао, который теперь очутился в роли мальчишки, и мало-по-малу к нему вернулось хорошее настроение. Он встал и, напевая „Молодую вдову на могиле“, отправился в харчевню. В этот момент он чувствовал себя на равной ноге с такими людьми, как почтенный Чжао.

¹ Да-ян = 1 рублю.

Странно сказать, но с этого момента все как-будто стали относиться к нему с большим уважением. А-Кей, быть может, считал, что происходит это оттого, что он стал как бы отцом почтенного Чжао, но на самом деле это было не так. По обычаю Вей-чжуана, если А-Седьмой колотил А-Восьмого или Ли-Четвертый бил Чжана-Третьего, это никогда не считалось особым событием, и нужно было столкновение со знаменитостью, вроде почтенного Чжао, чтобы об этом стали говорить. А раз это попадало людям на язычок, то побивший приобретал известность, но и побитый, в свою очередь приобщался к славе.

О том, что виноват был А-Кей, не стоит, конечно, и говорить. Почему так? Да просто потому, что почтенный Чжао не мог быть виноват.

Но, если виноват был А-Кей, то почему все как-будто начали выказывать ему особое уважение? Это объяснить трудно, но если говорить по существу, то, пожалуй, потому, что А-Кей высказался о своем отношении к роду Чжао, и хотя за это был побит, однако все боялись, что тут может быть доля правды и что, на всякий случай, лучше уж оказать ему уважение. А может быть — потому же, почему жертвенные животные в храме Конфуция, будучи такими же свиньями и баранами, как все остальные представители их породы, делались неприкосновенными для конфуцианцев, как только их касались обеды палочки „священномудрого“.

А-Кей после этого случая остался довольным на много лет.

В один весенний день, подвыпив, он шел по улице и на солнечном свете, около стены, увидел Бородатого Вана, сидевшего обнаженным по пояс и ловившего блох. В ту же минуту А-Кей почувствовал, что тело его тоже зачесалось. Этот Ван Бородатый был и паршивый и волосатый, и все звали его Ван Паршивый и Бородатый. А-Кей, пропуская слово „паршивый“, в то же время глубоко презирал Вана. С точки зрения А-Кея, парша не заслуживала удивления, а вот волосатость — это было вещью поразительной и невыносимой для человеческого глаза.

А-Кей сел рядом с ним. Если бы это был кто-либо другой, А-Кей не решился бы так свободно расположиться. Но рядом с Ваном Бородатым чего ему было опасаться? По правде сказать, то, что он присел рядом, даже делало честь Вану.

А-Кей тоже снял рубашку и принялся осматривать ее. Но потому ли, что она была свежестыранной, или потому,

что он был невнимателен — во всяком случае за большой промежуток времени он выловил только трех-четырех, а у Вана Бородатого одна следовала за другой, так и пощелкивая на зубах. Сначала А-Кей изумился, а потом обеспокоился. У какого-то там Вана, и вдруг так много блох, а у него так мало. Что за неприличное положение? Ему очень хотелось найти большую, но такой не было; нашлась только одна среднего размера. Он со злостью сунул ее в рот, лягнул зубами, и все же ему было далеко до Вана. Все его плешины покраснели. Он швырнул рубашку на землю и, сплюнув, сказал:

— Проклятый червяк!

— Паршивая собака! Ты кого ругаешь? — слегка подняв глаза, спросил Ван.

Хотя за последнее время А-Кей удостаивался сравнительно почтительного обхождения, а потому чувствовал некоторое высокомерие, однако перед постоянно бывшими его бездельниками он все еще трусил. Но на этот раз он был весьма отважно настроен. Эта заросшая волосатая штука смеет еще разговаривать!..

— Кто отзывается, того и ругаю!

Он поднялся и подбоченился.

— Что, у тебя кости чешутся? — спросил Ван Бородатый, тоже встав и накидывая рубашку.

А-Кей, решив, что тот хочет бежать, размахнулся кулаком, но не успел еще кулак опуститься, как был перехвачен... Толчок!.. А-Кей ткнулся вперед, и в ту же минуту Бородатый Ван, ухватив его за косу, потащил по заведенному порядку стукать головой о стену.

— Благородный муж рассуждает ртом, а не руками, — наклонив голову, — заявил А-Кей. Но Бородатый Ван, как видно, не был „благородным мужем“: не теряя времени, он стукнул А-Кея раз пять, потом толкнул его так, что тот отлетел ¹ на шесть, а затем, удовлетворенный, удалился.

На памяти А-Кея это было, пожалуй, первым посрамлением в его жизни, потому что Ван Бородатый с его волосатостью всегда был предметом насмешек со стороны А-Кея, а не наоборот, и уж, конечно, нечего говорить о том, чтобы он смел его трогать. А вот теперь взял и тронул... Прямо

¹ Чи — около пол-аршина.

невероятно! Может быть правда то, что говорят на рынке, будто „император прекратил экзамены и не желает иметь ни ученых, ни кандидатов“. Уж не поэтому ли умалилось значение семьи Чжао и не поэтому ли и на него, на А-Кей, стали смотреть с пренебрежением?

А-Кей стоял, не зная, что делать.

Вдали показался человек. Приближался еще один его враг. Это был всеми презираемый старший сын почтенного Цяня. Когда-то он убежал в город, в иностранную школу, а потом, неизвестно как, в Японию. Через полгода, когда он вернулся домой, ноги его выпрямились, а косы уже не оказалось. Мать его плакала раз десять, а жена трижды прыгала в колодезь. Потом мать его, приходя куда-нибудь, стала говорить: „Косу ему срезали в пьяном виде негодяи. Он ведь мог быть большим человеком, но теперь лучше подождать, пока она отрастет, а тогда поговорим“. Но А-Кей не мог этому поверить и за глаза называл его „фальшивым заморским чортом“, а также „иностраннным шпионом“ и, едва его завидев, уже начинал вполголоса ругаться. Но самое главное, что А-Кей в нем, как говорится, „глубоко презирал и ненавидел“, — была фальшивая коса. Ведь если даже коса и та поддельная, то значит, нет в человеке ничего человеческого; а что его жена не прыгнула в колодезь в четвертый раз, так это доказывает лишь то, что она — нехорошая женщина.

„Фальшивый заморский чорт“ подошел ближе.

— Плешивый! Осел!

Ругательство, которое А-Кей всегда произносил про себя, на этот раз, по случаю расстроенного состояния и жажды мести, вырвалось у него довольно громко. Неожиданно этот плешивый, подняв желтую лаковую палку, которую А-Кей называл „похоронным посохом“, ¹ большими шагами направился к нему. В этот момент А-Кей, поняв, что его хотят бить, втянул плечи и шею и стал ожидать нападения. И действительно, удары посыпались на его голову.

— Я сказал про него — протестовал А-Кей, указывая на ребенка, ² стоявшего поодаль.

¹ При похоронах ближайшие родственники идут за гробом, опираясь на специальную палку, так как предполагается, что от скорби родные физически слабеют. Вообще носить палку в дореформенном Китае было не принято.

² Ребятам обычно начисто бреют головы.

— Вот тебе, вот тебе, вот тебе!..

На памяти А-Кея, это, пожалуй, было вторым посрамлением в его жизни.

К счастью, эти удары словно что-то завершили в нем. Он почувствовал облегчение, а затем забвение — эта драгоценная способность, унаследованная им от предков, проявила свое действие, и он медленно отправился своей дорогой. Когда же он дошел до дверей харчевни, то уже совсем повеселел.

Но тут перед ним показалась маленькая монашка из храма Спокойствия и Очищения.

В обычное время, заведя ее, А-Кей ругался и плевался; но что же оставалось делать ему теперь, после посрамления?

В нем поднялись воспоминания, родилась неприязнь.

„А я-то не знал, почему сегодня мне так не везло. Оказывается, тебя увидел“, — подумал он.

Он пошел ей навстречу и громко сплюнул.

— Хай! Пэй!..

Маленькая монашка продолжала идти, не поднимая глаз и опустив голову.

А-Кей поровнялся с ней и вдруг протянул руку, потер ее свежесбриту голову и захохотал:

— Плешивая! Торопись, монах тебя ждет!

— Ты чего даешь волю рукам, чего трогаешь? — вся покраснев, огрызнулась монашка, ускоряя шаги.

Народ в харчевне расхохотался. А-Кей, увидев, что труды его получили одобрение, совсем разошелся.

— Монах трогает, а мне нельзя? — и он ущипнул ее за щеку.

Народ в харчевне хохотал. А-Кей был в полном восхищении и, чтобы угодить публике, ущипнул монашку еще сильнее и отпустил.

В этом турнире он совсем забыл и Вана Бородатого и „фальшивого заморского чорта“, словно все его огорчения разом получили отпущение. И странно, все его тело, после побоев, словно облегчилось, словно готово было лететь куда-то.

— Ах ты бездетный А-Кей! — слышался издали плач маленькой монашки.

— Ха-ха-ха! — хохотал совсем довольный А-Кей.

— Ха-ха-ха! — смеялись почти столь же довольные люди в харчевне.

ТРАГЕДИЯ ЛЮБВИ

Кто-то сказал, что есть победители, которые хотят, чтобы противники их были тиграми или соколами, ибо только тогда они ощущают радость победы; напротив, если противники окажутся вроде барана или цыпленка, они чувствуют бессмысленность такой победы. А есть и такие, которые, победив и видя, что умиравшие умерли, а сдавшиеся сдались, и все кругом трепещут и повторяют: „Слуга ваш поистине трепещет, воистину утрашен... Вина его достойна смерти“, — такие понимают, что для них уже нет ни врагов, ни соперников, ни друзей, что они одни над всем, в одиночестве, в холоде, в молчании... И тогда они ощущают горечь победы.

Но наш А-Кей не обладал подобными недостатками. Он всегда доволен собою.

В этом, пожалуй, одно из доказательств, почему духовная культура Китая стоит впереди всех на земном шаре.

Смотрите! В упоении он словно хотел взлететь... Но на этот раз победа оказалась несколько странной.

Прошатавшись в упоении полдня, он очутился в храме Земледелия, и, по обычаю, должен был улечься и захрапеть. Кто бы мог подумать, что в этот вечер ему оказалось весьма нелегко сомкнуть глаза. Он ощущал что-то странное в своем указательном и большом пальцах, как-будто они стали более упругими, чем обычно. Неизвестно, пристал ли к ним жир с лица маленькой монашки, когда он коснулся ее, или это произошло оттого, что он ущипнул ее и втер в свои пальцы ее жир...

„Бездетный А-Кей“ — звучала в его ушах ее фраза. И он подумал: „Правильно“! Надо иметь женщину. Бездетному никто не принесет после смерти в жертву чашку с пищей. Надо иметь женщину. Кроме того, сказано, что „из трех человеческих пороков наибольший — не иметь потомства“. Известно также, что „дух Жо-ао голодал“. Да, бездетность — большой недостаток в человеческой жизни.

Таким образом его мысли совпадали с заветами мудрецов и святых. Жаль только, что в дальнейшем он не смог себя сдержать.

„Женщина... Женщина... — думал он. — Монах трогал... Женщина...“

Нам неизвестно, когда в этот вечер захрапел А-Кей. Но в общем, после этого случая он все еще ощущал на пальцах упругость, в упоении мечтая о женщине. Из данного примера видно, что женщины — существа вредные.

В Китае добрая половина мужчин могла бы стать святыми, если бы их не портили женщины.

Династия Шан погибла из-за Да-цзи, династия Чжоу рухнула благодаря Бао-сы, династия Цинь... хотя в истории нет бесспорных доказательств, но если мы предположим, что и она погибла из-за женщины, то это вряд ли будет совершенно неверным. Во всяком случае, Дун Чжо был убит по милости Дяо-чань.¹

А-Кей был весьма нравственным человеком, и хотя нам неизвестно, у какого просвещенного наставника он учился, но в отношении принципа „разделения полов“ он всегда был необычайно строг и всегда обладал твердостью в осуждении разных ненормальностей, вроде маленькой монашки или „фальшивого заморского чорта“.

Его теория была такова: всякая монахиня состоит, конечно, в связи с монахом, всякая женщина, вышедшая из дома, конечно мечтает о разврате с любовником, и, если где бы то ни было женщина разговаривает с мужчиной, то, разумеется, между ними дело не чисто.

Чтобы выразить свое осуждение, он бросал на женщин гневные взгляды, или громко произносил несколько едких замечаний, или же из укромного места швырял им в спину камешки. И кто бы мог подумать, что в возрасте 30 лет, когда человек „устанавливается“,² как говорил Конфуций, он из-за

¹ Да-цзи — развращенная наложница Чжоу-Синя, последнего из правителей второй китайской династии Шан в XII в. до н. э. Бао-сы — знаменитая фаворитка Ю-вана, одного из последних правителей третьей китайской династии Чжоу, в VIII в. до н. э. Дун Чжо — генерал, захвативший власть в конце II в. н. э. в свои руки и управлявший государством единолично, держа при себе мальчика-императора. Официальная китайская история говорит, что его жестокость привела к тому, что один из его ближайших офицеров и воспитанник, Люй-Бу, убил тирана. Дяо-чань — жена Люй-Бу.

² В классической книге „Изречения Конфуция“ [великий китайский философ, говоря о развитии своей личности в связи с возрастом, сказал: „Мне минуло 30, и я установился“. Впоследствии, в ответ на вопрос о возрасте, начитанные люди отвечали словами Конфуция без указания цифры, т. е. тридцатилетний человек на вопрос, сколько ему лет говорит: „Я установился“, что означает, что ему 30 лет.

маленькой монашки потеряет свое душевное равновесие. С точки зрения приличного тона, этот дух похотливости не должен был бы существовать, и, конечно, женщин за это поистине следует ненавидеть. Ведь если бы лицо монашки не лоснилось, А-Кей, разумеется, не впал бы в грех, а если бы лицо ее было прикрыто материей, то тем более он был бы далек от искушения.

„Женщина“! — мечтал А-Кей. И вот он стал внимательно присматриваться к тем, о которых он полагал, что они „конечно, мечтают о разврате с любовником“; но те даже не улыбались ему в ответ. Он стал внимательно прислушиваться к тем, которые разговаривали с мужчинами, но в их разговорах не было ничего распутного. О! Вот еще одна вещь, которую следует ненавидеть в женщинах: все они маскируются „ложной добродетелью“.

В тот день А-Кей толоч рис в доме почтенного Чжао и, кончив ужинать, сидел, покуривая трубку на кухне. Если бы это происходило в каком-нибудь другом доме, то после ужина, собственно говоря, можно было бы и уйти, но в семье Чжао ужинали рано, и хотя по установленному правилу не позволялось зажигать лампы (поужинал — и спать), но бывали все же исключения для некоторых случаев: во-первых, когда сын почтенного Чжао еще не получил степени кандидата, ему позволялось зажигать лампу и учиться; во-вторых, когда приходил А-Кей на поденную работу, ему позволяли зажигать лампу, чтобы толочь рис. В соответствии с таким исключением, перед тем как начать работу, А-Кей сидел на кухне и курил трубку.

У-Ма была единственной служанкой в доме почтенного Чжао. Вымыв посуду, она тоже уселась на скамейку поболтать с А-Кеем.

— Хозяйка два дня ничего не ела, потому что наш господин хочет купить молодую...

— „Женщина... У-Ма... эта маленькая вдовушка“, — думал А-Кей.

— ... а наша молодая госпожа на восьмом месяце и собирается родить...

А-Кей выпустил чубук и поднялся.

— Наша молодая госпожа... продолжала трещать У-Ма.

— Давай спать вместе, — вдруг бросился к ней А-Кей и стал на колени.

На мгновение стало совсем тихо.

— Ай-я! — в изумлении задохнулась У-Ма и, вскочив, с криком побежала вон... Бежала, кричала, а потом как-будто даже заплакала.

А-Кей тоже изумленно стоял на коленях перед стеной, руками обнимая пустую скамейку, потом медленно встал, сообразив, что тут что-то неладно. Сердце его сильно билось. В смущении он сунул трубку за пояс и уже подумывал начать толочь рис, как вдруг на голову его опустился грубый удар. Он быстро обернулся. Перед ним стоял с бамбуковой палкой кандидат.

— Ты посмел!.. Ах ты!..

Длинный бамбук снова опустился на его голову, А-Кей схватился за нее руками, и удар пришелся по пальцам. Это было очень больно.

Когда он выскакивал за дверь, ему как будто попало еще по спине.

— Ах ты, забывшее восемь правил яйцо!¹ — выругался вслед ему на классическом языке кандидат.

А-Кей вбежал в амбар и остановился, все еще чувствуя боль в пальцах и вспоминая „забывшее восемь правил яйцо“. Таким языком крестьяне из Вэй-чжуана никогда не говорили, в ходу же он был только у важных лиц, знакомых с чиновниками. Поэтому А-Кей был совсем перепуган, — впечатление он испытывал необычайное. В этот момент все его мечты о женщине исчезли. После ругани и побоев с этим вопросом было покончено. А-Кей почувствовал себя опять беззаботным и вернулся толочь рис. Поработав некоторое время, он вспотел, остановился и стал снимать рубашку. Снимая ее, он услышал снаружи сильный шум и, будучи всю жизнь любителем всяких скандалов, поспешил во внутренний двор дома Чжао. Хотя были сумерки, он различил там много народу: была там два дня не евшая хозяйка, была также соседка, тетюшка Чжоу-Седьмая, и близкие родственники Чжао Бай-янь и Чжао Сы-чэнь.

Хозяйка как раз уговаривала У-Ма выйти из людской, повторяя:

¹ По-китайски „ван-ба-дань“, что означает, собственно, „черепашье яйцо“ и служит ругательством, равноценным выражению „незаконнорожденный“. Оставляя тот же смысл, конфуцианцы подставляли под эти же слова другие иероглифы, так же произносимые, но значившие „забывшее восемь правил яйцо“, т. е. человек без конфуцианской морали.

— Ну, выйди! Нечего прятаться у себя в комнате...

— Кто ж не знает, что ты честная?.. А самоубийство уж никак не годится, — говорила и тетушка Чжоу-Седьмая, со стороны.

У-Ма только плакала и что-то бормотала, но было плохо слышно.

„Гм — подумал А-Кей, — интересно, чего это ради вдовушка подняла шум?“

Он решил разузнать и направился к Чжао Сы-чэню.

В этот момент он вдруг заметил сына почтенного Чжао, который бежал к нему, держа в руке длинную бамбуковую палку. Увидав ее, А-Кей моментально сообразил, что недавние побои со всем этим шумом имеют какую-то связь и, повернувшись, побежал, думая удрать в амбар, но бамбуковая палка преградила ему путь. Тогда он повернул в другую сторону, выбежал через задние ворота, и спустя некоторое время, очутился уже в храме.

Посидев немного, он почувствовал холод, и по коже у него пробежали мурашки, так как, несмотря на начало весны, ночи были еще холодные и нельзя было ходить раздетым. Он вспомнил, что рубашка еще осталась в доме Чжао, хотел было пойти и взять ее, но побоялся палки кандидата.

Тут появился старшина.

— А-Кей такой сякой!.. Ты даже к прислуге у Чжао стал приставать. Это же прямо бунт! Ты и мне вредишь, спать не даешь по вечерам, такой-сякой...

В таком же духе старшина продолжал свое наставление, на которое А-Кей, конечно, не возражал.

В конце концов, в виду позднего времени, пришлось посулить старшине на вино вдвое больше обыкновенного, целых четыреста медяков; а так как у А-Кея денег не оказалось, — то в залог попала его войлочная шапка. Кроме того, А-Кей должен был согласиться на следующие пять условий: во-первых, завтра же пойти в дом Чжао с извинениями, с парой красных свечей в один „цзинь“ весом каждая и с пачкой курительных палочек; во-вторых, семейство Чжао приглашает за счет А-Кея даоса-монаха для изгнания демона несчастья; в третьих, отныне А-Кею запрещается приближаться к воротам дома Чжао; в четвертых, если впредь с У-Ма случится что-нибудь неожиданное, отвечать за это будет А-Кей, и, в пятых, А-Кею не разрешается требовать денег за работу или свою рубашку.

А-Кей, конечно, согласился на эти условия. Жаль только, что не было денег.

К счастью наступила весна, и можно было обойтись без ватного одеяла, которое он продал за две тысячи медяков, чтобы выполнить обязательства.

После всех этих расходов, у него еще осталось несколько монеток, но выкупить войлочную шапку он и не подумал, а деньги пропил.

Семейство же Чжао не сожгло ни свечей, ни курений, оставив их про запас, потому что их можно было употреблять, когда хозяйка ходила на богомолье. Что же касается рубашки А-Кея, то из большей половины были сделаны пеленки для ребенка, родившегося у молодой госпожи на восьмой месяц, а из меньшей, рваной половины сделали подошвы к туфлям У-Ма.

V

ВОПРОС ПРОПИТАНИЯ

Окончив положенный обряд, А-Кей попрежнему возвратился в храм. Солнце уже начало заходить, когда он ощутил, что в мире происходит что-то странное, и, подумав серьезнее, в конце концов пришел к убеждению, что причина лежит в его голом теле. Вспомнив, что у него еще остался халат, он накинул его на себя и улегся, а когда открыл глаза, то оказалось, что солнце уже озаряет край западной стены.

Поднявшись, он по-прежнему отправился шататься по улицам, и хотя уже не с такой силой, как физическую боль обнаженного тела, но все же постепенно опять стал ощущать, что в мире происходит что-то странное. Казалось, что с этого дня все женщины в Вэй-чжуане сделались боязливыми: завидев А-Кея, они сейчас же уходили, и одна за другой прятались за ворота. Дошло до того, что даже тетушка Чжоу-Седьмая, которой было под пятьдесят, тоже вслед за другими спешила укрыться, да еще прихватив с собою свою одиннадцатилетнюю дочь.

А-Кей чрезвычайно изумлялся и думал: „С чего это все эти твари вдруг научились манерам воспитанных девиц?!.. Потаскухи этакие!“

Но он еще более ощутил, что в мире все стало странным, после событий, случившихся несколько дней спустя. Во-первых,

в харчевне перестали отпускать ему в кредит; во-вторых, старик, заведывавший храмом Земледелия, сделал несколько намеков, как-будто предлагая ему уйти из храма, а в третьих, хотя он и не помнил сколько именно дней, но во всяком случае не мало, никто не звал его на работу. Что харчевня закрыла кредит — это еще можно было терпеть; что старик торопил его уйти — пускай себе говорит, но сидеть без работы и голодать! Нет, — это в самом деле было бы возмутительно!

А-Кей не вытерпел и решил отправиться на разведку к старым работодателям, так как он не смел показываться только в доме Чжао. Но странное дело! К нему выходили одни мужчины и с раздраженным видом, словно отказывая нищему, махали рукой:

— Нет! Нет! Уходи!

А-Кей удивлялся все больше и больше.

„Прежде все на перебой требовали помощи, а теперь вдруг ни у кого нет работы. Тут что-нибудь да не так“, — размышлял он. Расспросив хорошенько, он узнал, что на всякую работу приглашают теперь маленького Дэна. Этот маленький Дэн был сыном бедняка, худым и слабым, и в глазах А-Кея стоял даже ниже Вана Бородатого. Кто бы мог подумать, что этот негодник будет перебивать у него, А-Кея, кусок хлеба. А-Кей обозлился на этот раз куда сильнее обычного; в ярости шагая по дороге, он вдруг взмахнул рукой и запел:

„В руке держу стальную плеть, сразить тебя хочу...“

Через несколько дней он, наконец, встретил маленького Дэна у „стены от злых духов“¹ возле дома Цянь.

Как известно, „когда встречаются враги, сверкают их глаза“. И вот А-Кей устремился вперед, а маленький Дэн остановился.

— Скотина! — буркнул А-Кей, окинув его гневным взглядом и сплюнув из угла рта.

— Я же мошка... Верно? — ответил маленький Дэн.

Это смирение, наоборот, распалило гнев А-Кея, но так как в руке не оказалось стальной плети, то он просто ринулся вперед и схватил Дэна за косу.

¹ Специальная стена перед входом в ворота дома, воздвигаемая суверенным китайским населением в защиту от проникновения злых духов, которые, по поверию, умеют летать только по прямой линии и не в состоянии, обогнув эту стену, залетать в ворота сбоку.

Маленький Дэн, одной рукой защищая основание собственной косы, другой, в свою очередь, ухватил косу А-Кея, и последнему пришлось свободной рукой защищать ее основание.

Прежде, с точки зрения А-Кея, маленький Дэн не годился бы ему в противники, но теперь, когда из-за голодовки он сам исхудал и ослаб, ему было не справиться с ним, и оказалось, что Дэн превратился в соперника, равного ему по силе. Четырьмя руками ухватив две косы, они стояли так с полчаса, согнувшись и отражая на белой глинобитной стене дома Цянь синюю радугу.

— Так, так!.. говорили жители, словно уговаривая их разойтись.

— Здорово! Здорово! — говорили другие, не то уговаривая их, не то порицая, не то поддразнивая.

Но противники не слушали. То А-Кей наступал шага на три, а маленький Дэн отступал, и потом оба останавливались, то наоборот — наступал Дэн и отступал А-Кей, и опять оба застывали на месте.

От волос их подымался пар, по лбам катился пот... Руки А-Кея разжались, и в ту же секунду разжались руки маленького Дэна. Они одновременно выпрямились, — одновременно отступили и выбрались из толпы зрителей.

— Запомнишь, такой-сякой!.. повернув голову, сказал А-Кей.

— Такой-сякой... запомнишь! — тоже повернув голову, сказал маленький Дэн.

В этой „битве тигра с драконом“ как-будто не было ни победы, ни поражения, неизвестно также, остались ли довольны зрители (они не высказали своего мнения на этот счет!), но, во всяком случае, попрежнему никто не звал А-Кея на работу.

Однажды в теплый, тихий день, когда в веянии легкого ветерка сказывалось уже лето, А-Кей почувствовал озноб... Это еще можно было терпеть, но вот — в животе был голод. Ватного одеяла, войлочной шапки и куртки давно уже не стало.

Во вторую очередь был продан ватный халат. Оставались только штаны, которые уж никак нельзя было снять, да рваная рубаша, которую можно было только кому-нибудь подарить на подошвы для туфель, но за которую ничего нельзя было получить. Он давно мечтал найти на дороге пригоршню денег, но

до сих пор найти не мог. Он мечтал также внезапно обнаружить деньги в своей убогой комнате, озирался по сторонам, но в комнате было пусто... Тогда он решил выйти и поискать еды.

Идя по дороге в поисках пищи, он видел знакомую харчевню, видел знакомые лепешки, но проходил мимо и не только не останавливался, но даже и не помышлял о них. То, что он искал, было в другом роде, но что это были за вещи, он и сам еще не знал.

Вэй-чжуан было небольшим селом и вскоре кончилось... За ним начинались рисовые поля; глаз отдыхал на зелени свежих колосьев, среди которой виднелось несколько круглых двигающихся точек — то были работавшие в поле крестьяне. Но А-Кей, не разделявший этих земледельческих радостей, продолжал свой путь, так как отчетливо сознавал, что все это не похоже на его способ добывания пищи.

Наконец он приблизился к ограде монастыря Спокойствия и Очищения. Вокруг были те же рисовые поля, и белая ограда четко выделялась среди свежей зелени. Сзади, за глинобитной стенкой, был огород.

А-Кей, поколебавшись, оглянулся по сторонам — никого не было — и стал карабкаться через стенку, хватаясь за какое-то ползучее растение, но глина осыпалась под ногами, и он соскальзывал вниз, пока, наконец, не ухватился за сук тутового дерева и не спрыгнул в огород.

Там было зеленым-зелено, но не оказалось ни вина, ни лепешек, ни других съедобных вещей.

К западной стене примыкала бамбуковая рощица, в которой было много побегов, но, увы, не вареных.

Было там много разных овощей: брюква давно уже созрела, горчица расцвела, капуста закруглилась... А-Кей в унынии, словно провалившийся на экзамене, медленно побрел обратно к воротам и вдруг радостно вскрикнул. Ну, да, конечно: перед ним репа!

Он уже нагнулся за ней, но в ворота внезапно просунулась круглая голова и тотчас же скрылась. Это была маленькая монашка. На монашек А-Кей смотрел, как на сорную траву. Но ведь в мире требуется осмотрительность, и поэтому он, как можно быстрее, вырвал четыре репы, открутил им листья и сунул за пазуху. В этот момент вышла старая монахиня.

— О, боже! А-Кей, ты зачем залез в огород воровать репу? Ай-я! Стыд! О боже мой!..

— Когда это я залез в твой сад воровать? — пятась к выходу, спросил А-Кей.

— А сейчас... разве нет? — старуха показала на его рубаху.

— Это твой? Ты спроси их, ответят ли они тебе? Эх ты!..

А-Кей, не кончив, побежал большими прыжками. На него набросился большой жирный черный пес. Он, собственно, всегда находился на переднем дворе, но тут неизвестно каким образом очутился в огороде.

Пес, лая, гнался за ним и уже готовился схватить его за ногу, но к счастью из-за пазухи выпала одна из реп. Собака в испуге приостановилась...

А-Кей в это время успел взобраться на тутовое дерево, прыгнул на ограду, а затем и человек и репы скатились вниз... Остался только черный пес, лаявший на дерево, да старая монахиня, бормотавшая молитвы.

А-Кей, боясь, как бы старуха опять не напустила на него собаку, собрал репы и двинулся в путь, подняв с земли несколько камней. Но собака не показывалась. Тогда А-Кей выбросил камни и пошел, поедая на ходу репу и размышляя, что здесь ему нечего делать и что лучше перебраться в город.

Когда была съедена третья репа, он окончательно остановился на этом решении.

VI

ОТ ВЕЛИЧИЯ К ПАДЕНИЮ

Вэйчжуанцы вновь увидели А-Кея в том же году лишь после того как провели праздник середины осени. Все были изумлены, когда узнали о его возвращении, и стали припоминать, куда же он уходил. Раньше, когда А-Кей бывал в городе, он заранее радостно и оживленно всем об этом сообщал, но на этот раз было не так, и поэтому никто в свое время не обратил внимания на его уход. Может быть, он и говорил об этом старику, заведывавшему храмом, но в деревне Вэй-чжуан, по старому обычаю, событием считались поездки в город только таких лиц, как почтенный Чжао, почтенный Цянь или господин кандидат. „Фальшивый заморский чорт“ уже не входил в их число, — что же тогда говорить об А-Кее? Разумеется, старик не стал рас-

пространять такую новость, и в Вэй-чжуане об этом совсем ничего не знали.

Это последнее возвращение А-Кея было совсем непохоже на предыдущее и поистине заслуживало того, чтобы насторожиться.

Небо уже начинало темнеть, когда он с небрежным видом показался перед дверьми харчевни, подошел к прилавку и, вытащив из-за пояса пригоршню серебра и меди, бросил деньги на прилавок со словами:

— Вот деньги! Подай вина!..

Одет он был в новую куртку, и видно было, что на поясе у него висел большой кошель, тяжестью своей оттянувший пояс, так что получался очень глубокий изгиб. По обычаю Вэй-чжуана, к необычайному гостю всегда относились скорее с почтением, чем с подозрением. Хотя теперь все знали, что это А-Кей, но так как он был не похож на А-Кея в рваной рубашке, а древние мудрецы говорили: „Когда ученый отлучится из родной деревни хотя бы на три дня, встречать его надо с особым почетом“, то и слуги, и хозяин, и посетители, и прохожие высказывали ему все знаки почтения — правда, смешанного с сомнением.

Хозяин первый кивнул головой и вслед за этим заговорил:

— А, ты вернулся, А-Кей?

— Вернулся.

— Разбогател, разбогател! ¹ Ты...

— Был в городе!

Новость на другой день обошла всю деревню, и все хотели узнать историю удачи А-Кея с его деньгами и с его новой курткой. И вот в харчевне, в чайной и в храме стали собираться слухи, в результате чего уважение к А-Кею увеличилось. По словам А-Кея, он работал в доме господина ученого. Эта часть рассказа повергла услышавших в благоговение.

Фамилия этого господина ученого была Бай; но так как во всем городе был только один ученый, то не к чему было прибавлять фамилию, ибо сказать „ученый“ значило назвать именно его.

И это было справедливо не только для Вэй-чжуана, но и на сто „ли“ в округности. Многие даже считали, что „Господин Ученый“ — это и есть его фамилия и имя.

¹ Форма приветствия, равная по смыслу: „Поздравляю с удачей“.

Служить в семье такого человека! За это А-Кея действительно можно было уважать.

Однако, по словам того же А-Кея, ему не захотелось служить дольше, потому что этот господин ученый был уж чересчур „таким-сяким“.

При подобного рода заявлении слушатели и вздохнули и обрадовались, потому что, с одной стороны, А-Кей, конечно, не годился для работы в доме почтенного господина ученого, с другой же — об этом стоило пожалеть. А-Кей рассказал также, что вернулся он еще по причине своего недовольства городскими жителями. Кроме старых их недостатков, вроде того, что „скамыю“ они называли „лавкой“, а к жареной рыбе не прибавляли луковых перьев, он обнаружил также, что женщины не умеют достаточно грациозно ковылять по улицам.¹ Однако, вместе с тем, у горожан есть много достоинств. Взять, например, хотя бы то, что вэйчжуанцы умеют играть только тридцатью двумя бамбуковыми картами, и лишь „фальшивый заморский чорт“ играет в „ма-цзян“.² А вот в городе так даже мальчишки — специалисты по этому делу.

Куда уж там „фальшивому чорту“! Попадись он в руки таких десятилетних мальчишек, как в одну секунду станет „ничтожным грешником перед лицом князя ада“. От этого рассказа все даже покраснели.

— А видели бы вы, как рубят головы! — продолжал А-Кей — Эх, красиво! Казнили революционеров... Замечательно.

Он потряс головой и сплюнул прямо в лицо стоявшему перед ним Чжао Сы-чэню. Слушатели при этих словах задрожали. А-Кей оглянулся по сторонам и вдруг, взмахнув правой рукой, стукнул по затылку Вана Бородатого, слушавшего с вытянутой вперед шеей.

— Р-раз!.. Вот так!

Ван-Бородатый в испуге отскочил, мигом втянул голову, а все были прямо потрясены. После этого у Бородатого Вана много дней болела голова, и он уже не смел больше приближаться к А-Кею.

Другие — тоже. В это время положение А-Кея в глазах вэйчжуанцев не то, чтобы превосходило положение почтенного

¹ Речь идет о походке женщин на искалеченных ногах.

² Игра в кости, рассчитанная на четырех партнеров. Самая популярная игра в Китае.

Чжао, но сказать, что оно было одинаковым, не будет, пожалуй, преувеличенным.

В дальнейшем великая слава А-Кея быстро проникла в женские покои¹ Вэй-чжуана. Хотя, собственно, в деревне Вэй-чжуан только у двоих, у Чжао и Цяня, были большие покои, а у девяти десятых остальных жителей они были весьма скромные, все-таки женские покои остаются женскими покоями, и случай этот можно считать удивительным. Встречаясь, женщины рассказывали, что тетюшка Чжоу-Седьмая купила у А-Кея синюю шелковую юбку, конечно, подержанную, но заплатила за нее всего лишь девяносто медяков. Кроме того, мать Чжао Бай-яня (по словам других — мать Чжао Сы-чэня, но это нуждается в проверке) купила детскую рубашку из красного заморского шелка, на семь десятых новую, всего за неполных триста медных монет.

Поэтому все они мечтали увидеться с А-Кеем, и те, которым не доставало шелковой юбки, рассчитывали купить у него эту вещь, а те которые хотели кофточку из заморского шелка, мечтали купить такую кофточку. Теперь они не только не убежали, завидев его, но бывало даже, что А-Кей пройдет мимо, а они бегут вслед и спрашивают:

— А-Кей, есть у тебя еще шелковые юбки? Нет? А шелковые кофточки есть?

Из скромных покоев новость перекинулась и в богатые, потому что тетюшка Чжоу-Седьмая, оставшаяся довольной своей покупкой, попросила жену почтенного Чжао оценить шелковую юбку, а та сообщила об этом своему супругу и очень ее расхвалила. Почтенный Чжао за ужином, в беседе с кандидатом, решил, что с А-Кеем дело неладно и что следует обратить внимание на собственные двери и окна. Что же касается его товаров, то, пожалуй, кое-что можно будет купить, если у него товар хороший. Кроме того, жена почтенного Чжао пожелала приобрести дешевую, но хорошую душегрейку. Тогда на семейном совете решили поручить тетюшке Чжоу-Седьмой немедленно разыскать А-Кея, и по такому случаю в третий раз нарушили традицию, разрешив себе в этот вечер зажечь лампу.

Масла выгорело уже не мало, но А-Кей не являлся. Все члены семейства Чжао были в нетерпении, зевали, ругали

¹ Женская половина — гарем, где, помимо основной жены, у богатых китайцев живут наложницы.

А-Кей за его ветреность и бранили тетушку Чжоу за ее медлительность. Жена почтенного Чжао опасалась, что А-Кей не посмеет притти из-за весенней истории, но ее супруг не видел для этого основания, потому что он ведь сам позвал его.

Действительно, почтенный Чжао в конце концов оказался прав, и А-Кей явился в сопровождении тетушки Чжоу-Седьмой.

— Он все говорил, что „нет“ да „нет“, а я сказала: „Ты должен сам пойти и сказать“, а он еще хотел сказать, а я сказала... — затараторила тетушка Чжоу, едва появившись в дверях.

— Высокочтимый... — произнес А-Кей, не то улыбаясь, не то нет, и остановился у входа.

— А-Кей, слышать, ты где-то разбогател, — сказал почтенный Чжао, подходя к нему и меряя его взглядом. — Ну, что ж, это хорошо... Это очень хорошо... Да... Слышать у тебя есть кое-что из старых вещей... Можешь все принести показать... Не по чему другому, а просто я хотел бы...

— Я уже говорил тетушке Чжоу. Все кончилось...

— Кончилось? — проговорил почтенный Чжао с невольным разочарованием. — Откуда оно могло так скоро кончиться?

— Да все это было моего приятеля. Немного было... раскупили.

— А, может, кое-что осталось?

— Сейчас есть только дверная занавеска.

— Неси дверную занавеску... Посмотрим... — торопливо сказала жена почтенного Чжао.

— Ладно, принесешь завтра, — не очень настойчиво заметил почтенный Чжао. — А-Кей, когда у тебя будут вещи, сначала принеси их к нам.

— Цену мы дадим не меньше, чем другие, — прибавил кандидат.

Жена кандидата бросила взгляд на А-Кей, чтобы увидеть, — подействовало ли на него это заявление или нет.

— Мне нужна меховая душегрейка, — сказала жена почтенного Чжао.

А-Кей, хотя и обещал, но вышел так лениво и равнодушно, что нельзя было решить, серьезно ли он говорил или нет.

При виде этого, жена почтенного Чжао потеряла всякую надежду и так огорчилась и рассердилась, что даже перестала

зевать. Кандидат, тоже раздосадованный поведением А-Кея, заявил, что следует остерегаться этого „забывшего восемь правил яйца“, а еще лучше — попросить старшину запретить ему жить в Вэй-чжуане.

Однако почтенный Чжао был другого мнения и сказал, что такая мера, пожалуй, вызовет нарекания, а кроме того, о людях подобной профессии известно, что они — как „старый орел, который не ищет пищи подле своего гнезда“, и что деревне нечего опасаться, — надо только самим по ночам быть на чеку, и ладно. Выслушав это „домашнее поучение“, кандидат вполне с ним согласился и, моментально оставив свой план преследования А-Кея, попросил тетюшку Чжоу ни в коем случае не передавать этого разговора посторонним. Но на следующий же день тетюшка Чжоу-Седьмая перекрасила свою синюю юбку и передала о подозрениях относительно А-Кея, правда, не упомянув о том, что кандидат хотел его изгнать.

Но и это уже было несчастьем для А-Кея.

Первым к нему явился старшина и забрал дверную занавеску, и хотя А-Кей заявил, что ее хотела посмотреть жена почтенного Чжао, старшина все-таки не возвратил ее, потребовав еще ежемесячный взнос в знак уважения к его собственной персоне. Затем последовала внезапная перемена в почти-тельном отношении к нему жителей: хотя они и не решались высказывать ему явное пренебрежение, но все же старались держаться от него подальше. Однако это отношение опять-таки было весьма не схоже с тем как относились к А-Кею после случая с Ваном Бородатым. Здесь был элемент того что называется „уважай, но держись подальше“. Были, однако, в Вэй-чжуане и такие бездельники, которые хотели разузнать об А-Кее все подробно, а так как сам он не умел держать язык за зубами, а любил похвастаться, то скоро выяснилось, что он играл мелкую роль, не осмеливаясь сам лазать через стены или залезать в пролом, а лишь стоя на стреме и принимая вещи. Однажды ночью он только-что принял мешок, а его товарищ полез за вторым, как вдруг он услышал шум и поспешил удрать. В ту же ночь он выбрался из города, вернулся в Вэй-чжуан и больше уж не осмеливался приниматься за такие дела. История эта еще больше повредила А-Кею. Ведь отношение жителей к А-Кею, построенное на принципе „уважай, но держись по-

дальше“, основывалось на страхе перед возможностью вражды с его стороны. Но кто бы мог подумать, что он всего на всего воришка, не отважившийся украсть вторично. Поистине, как говорится в древних книгах, „оного для страха недостаточно“.

VII

РЕВОЛЮЦИЯ

В четырнадцатый день девятого месяца, в третий год правления Сюань-туна,¹ в тот самый день, когда А-Кей продал свой кошель Чжао-Бай-яню, лодка с большим черным навесом причалила в третью стражу к пристани у дома Чжао. Эта лодка появилась из черного мрака, в деревне все крепко спали, и никто не знал об этом. Ушла же она перед рассветом, и тут кое-кто ее заметил. В результате долгих разведок оказалось, что это — лодка господина ученого. Она доставила много беспокойства деревне, и уже к полудню сердца всех оказались встревоженными.

Цель прихода лодки тщательно скрывалась семьей Чжао, но в чайной и в харчевне заговорили о том, что революционеры уже подступают к городу и будто господин ученый приехал спастись в нашу деревню. Одна только тетушка Чжоу так не думала, а говорила, что дело всего лишь в нескольких старых сундуках с платьем, которые господин ученый решил послать на хранение и которые уже отосланы обратно почтенным Чжао.

Действительно, господин ученый и господин кандидат раньше не были между собою в ладах и по существу не могли питать друг к другу сочувствие в беде. Притом ведь тетушка Чжоу была соседкой Чжао и видела и слышала больше других, так что, вероятно, она была права.

Однако, слухи все ширились. Поговаривали, будто господин ученый, хотя лично сам и не приехал, но зато прислал длинное письмо с целью завязать дружеские отношения, и что почтенный Чжао, хорошенько поразмыслив и решив, что ничего плохого из этого не выйдет, оставил у себя корзины и поместил их под кроватью своей супруги. Что же касается революционеров, то утверждали, что они уже этой ночью вошли в город

¹ Сюань-тун — название годов правления последнего китайского императора Пу-И. 3-й год Сюань-тун — 1911 г.

и что на каждом был белый панцырь и белый шлем, в знак траура по императору Чун-чжэну.¹

В ушах А-Кея давно уже звучала эта фраза о прибытии революционеров, тем более, что еще в прошлом году он собственными глазами видел их казнь. Неизвестно почему, но он считал, что революционеры — это то же самое, что мятежники, а мятежники были ему не понутру. Вот почему он чувствовал к ним глубокое отвращение. Но он никак не ожидал, что знаменитый ученый так их испугается. Он не мог тут не удержаться, чтобы не вспомнить о том, как обстояло дело прежде, а паника, охватившая всех жителей Вэй-чжуана, доставила ему даже удовольствие.

„Сделать революцию, все перевернуть — это хорошо! — думал он. — Перевернуть бы всех этих проклятых... ненавистных... Я присоединяюсь к революционерам“.

Положение А-Кея за последние дни пошатнулось, и в общем он был недоволен. А тут еще две чашки вина, выпитые на пустой желудок в полдень... И вот, размышляя над этим, он пришел в странное возбуждение. Неизвестно, как это случилось, но сам он словно превратился в революционера, а деревня Вэй-чжуан в его пленника. И, довольный сверх меры, он не удержался от громкого крика:

— Мятеж! Мятеж!

Жители испуганными глазами смотрели на него. Такого жалкого взгляда А-Кей никогда еще не видел. Одно это доставило ему такое удовлетворение, как ледяная вода в жаркий июньский день. В каком-то исступлении он шел и кричал:

— Ладно!.. Что хочу, то и будет. Кого люблю, так и будет. — Потом запел: „Так, так! Не жалею! Напившись пьяным, брата Чжэна был готов убить. В руке держу стальную плеть: хочу тебя сразить...“

Оба мужчины из семейства Чжао, с двумя своими родственниками, тоже стояли в воротах, рассуждая о революции. А-Кей, не заметив их, прошел, распевая во все горло:

— Тра-та-та!..

Почтенный А-Кей! — тихо и нервно окликнул его господин Чжао.

— Тра-та!..

¹ Последний император династии Мин, свергнутый в 1644 г.

— Почтенный А-Кей!

— Тра-там-там!..

А-Кей не ожидал, что его имя может быть соединено со словом „почтенный“, и решил, что эти слова относились не к нему.

— Там... трам... тара-рам, там... распевал он.

— О, почтенный! Мне жаль...

— А-Кей, — обратился к нему кандидат прямо по имени.

А-Кей тотчас же остановился и, наклонив голову, спросил:

— Что?

— Почтенный Кей, теперь... — у господина Чжао не хватало слов, — теперь как? Все хорошо?

— Хорошо? Конечно! Что хочу, то и будет...

— А... братец Кей... таким, как мы, бедным друзьям, ведь не важно, если... — сказал Чжао-Бай-янь, словно стараясь разведать о планах революционной партии.

— Бедные друзья? Ты, пожалуй, побогаче меня, — ответил А-Кей, уходя.

Все в замешательстве не находили слов. Почтенный Чжао-отец и его сын ушли в дом и совещались весь вечер. Чжао Бай-янь, вернувшись домой, вынул из-за пазухи кошель и велел жене спрятать его в сундук.

А-Кей, пролетав на крыльях возбуждения, в конце концов вернулся в свой храм, уже отрезвившись. В этот вечер старик, заведывавший храмом, был необычайно приветлив и пригласил его выпить чаю. Тогда А-Кей попросил у него две лепешки и, съев их, потребовал обгоревшую свечу в четыре „ляна“ весом, в подсвечнике, зажег ее и улегся в своей комнате.

Новизна положения внушала ему невыразимую радость. Огонь свечи, словно в новогоднюю ночь, прыгал, мерцая, и его мысли так же скакали...

Мятеж! Интересно... Придут революционеры в белых шлемах и панцырях, у всех в руках ножи, плети, бомбы, заморские пушки, трехконечные, двухлезвийные мечи и пики крючком. Они пройдут мимо храма и позовут: „А-Кей, идем вместе!.. Идем вместе!“ И он пойдет вместе с ними. Тогда-то он посмеется над всеми мужчинами и женщинами Вэй-чжуана... Стоя на коленях, они будут кричать „А-Кей, пощади!“ Но кто их станет слушать? Первым заслуживает смерти маленький Дэн вместе с почтенным Чжао, затем кандидат, а еще „фальшивый заморский чорт“...

Может быть, оставить кого-нибудь? Пожалуй, Бородатого Вана можно не трогать. А впрочем, и его нечего жалеть. Вещи?... Прямо пойти и открыть сундуки... Драгоценности, деньги, заморские ткани... Сначала перетащить в храм кровать нинбосского образца от жены кандидата, потом столы и стулья от семейства Цянь... А можно и от того же Чжао...

Самому не двинуть пальцем, а крикнуть Дэну, чтобы перетаскивал проворнее и, если не станет работать как следует, дать ему пощечину...

Сестра Чжао Сы-чэня безобразна... Дочка тетушки Чжоу-Седьмой, когда подрастет... Тогда и поговорим. Жена „фальшивого заморского чорта“ может спать с бескосым мужчиной. Тьфу, дрянь! Жена кандидата — с бельмом... У-Ма давно не показывалась, неизвестно, где она... Жаль, что ноги слишком большие...

Не успев все как следует обдумать, А-Кей захрапел. Свеча в четыре лян обгорела лишь на полвершка, и красный, мигающий свет озарял открытый рот А-Кея.

Хо-Хо! — внезапно вскрикнул А-Кей, поднял голову, озираясь с недоумением по сторонам, но, заметив свечу, снова уронил голову и заснул.

На другой день он встал очень поздно и, выйдя на улицу, увидел, что все кругом по-старому, и попрежнему голодно в желудке...

Он думал, но ничего не мог придумать. Наконец, как-будто что-то решив, он медленно зашагал и не то с умыслом, не то без умысла добрался до монастыря Спокойствия и Очищения. Монастырь, со своими белыми ставнями и черными лакированными воротами, покоился в тишине, как и в весенний день.

Поразмыслив, А-Кей подошел и стукнул в ворота. Изнутри отозвалась собака.

Он торопливо подобрал несколько обломков кирпича и снова начал стучать ими, все с большей силой, пока на черной двери не появилось множество меток. Только тогда кто-то подошел открыть.

А-Кей поспешно схватил целый кирпич и, расставив ноги, приготовился к сражению с собакой. Однако ворота монастыря приоткрыли лишь щель, никакого черного пса оттуда не выскочило, и он увидел только старую монахиню.

— Ты зачем опять пришел? — спросила она испуганно.

— Революция, переворот... ты знаешь? — невнятно пробормотал А-Кей.

— Переворот, переворот! Тут вот наперевертывали... Как это вы будете нас переворачивать? спросила старая монахиня с покрасневшими глазами.

— Что? — поразился А-Кей.

— Ты разве не знаешь, что уже приходили и перевернули?

— Кто? — еще более поразился А-Кей.

— Да кандидат с „фальшивым чортом“.

Это было совсем неожиданно, и А-Кей совершенно опешил.

Старая монахиня, увидав, что он утратил боевой дух, быстро захлопнула ворота. А-Кей толкнул их, но не мог открыть и стал опять стучать. Никто не отзывался.

Все это случилось до полудня. Кандидат Чжао, который был искусен в добывании всяких новостей, как только узнал, что революционеры еще ночью вошли в город, сейчас же закрутил косу на затылке и спозаранку отправился с визитом к Цяню, „фальшивому чорту“, которого он до сих пор не признавал.

Но так как настало время всяких обновлений, то они моментально договорились, стали закадычными друзьями и, решив действовать, примкнули к революции.

Долго думали они и, наконец, придумали. В храме Спокойствия и Очищения хранилась императорская таблица с надписью: „Десять тысяч лет императору“. Ее нужно было немедленно снять.

...И вот, они оба моментально отправились в монастырь производить переворот.

Так как старая монахиня вздумала сопротивляться и возражать, они немедленно превратили ее в манчжурское правительство и порядком поколотили палкой и деревянной колотушкой по голове. Когда же они ушли и она несколько опомнилась, то оказалось, что императорская таблица лежала на полу, а бронзовая курильница времен Сюань-дэ, стоявшая перед алтарем богини Гуань-инь,¹ исчезла.

¹ Сюань-дэ (1426—1435 гг.) название годов правления при национальной династии Мин. Гуань-инь — буддийская богиня милосердия.

Обо всем этом А-Кей узнал впоследствии.

Он очень подсадовал, что проспал, и в то же время был глубоко поражен тем, что они не позвали его.

Подумав, он пришел к прежнему предположению:

„Неужели они еще не знают, что я уже перешел на сторону революционеров?“

VIII

НЕ ПОЗВОЛИЛИ СТАТЬ РЕВОЛЮЦИОНЕРОМ

Сердца жителей Вэй-чжуана с каждым днем успокаивались.

Из полученных сведений они знали, что хотя революционеры и вошли в город, но никаких особых изменений не произошло.

Уездным начальником остался все тот же чиновник, изменивший только свой титул. Господин ученый тоже получил какое-то назначение, — никаких этих названий жители Вэй-чжуана не понимали, — а солдатами командовал прежний начальник. И была только одна неприятность. Дело в том, что несколько плохих революционеров начали безобразничать и на другой же день насильно резали косы. По слухам, лодочник Ци-цзин из соседней деревни попался им в руки и лишился человеческого образа.

В общем, эта была не такая уж большая опасность, потому что жители Вэй-чжуана редко ездили в город, а если и собирались ехать, то теперь моментально изменили решение, дабы не рисковать понапрасну.

Нельзя сказать, что Вэй-чжуан не изменился. Несколько дней спустя число закрутивших волосы на макушке постепенно возросло, причем поговаривали, что самым первым оказался блестящий кандидат, следующими были Чжао Сы-чэнь, Чжао Бай-янь, а затем А-Кей.

В летнее время, когда все закручивали на затылках свои косы или связывали их узлом, это не считалось зазорным. Но ведь теперь был конец осени. Вот почему подобное несвоевременное выполнение летнего правила нельзя не оценить как великий подвиг, и нельзя скрыть, чтобы для Вэй-чжуана это не было связано с революцией. И когда Чжао Сы-чэнь шествовал в таком виде, зрители громко говорили:

— Хей! Революционер идет!..

А-Кей, услышав это, почувствовал зависть. Хотя он давно уже знал новость о закрученной косе кандидата, но даже и не предполагал, что он тоже может последовать его примеру. Теперь же, увидав Чжао Сы-чэня в таком виде, он немедленно решил во всем подражать ему.

С помощью бамбуковой палочки для еды, он закрутил свою косу на макушке и, поколебавшись, собрался с духом и вышел из дому.

Пока он шел по улице, люди смотрели на него, но ничего не говорили. А-Кей сначала был очень недоволен, а потом рассердился.

За последнее время он легко расстраивался, хотя в действительности жизнь его была не так тяжела, как до переворота. Люди, при виде его, проявляли вежливость, в лавках не требовали наличного расчета, но А-Кей в общем чувствовал себя разочарованным. Раз произошла революция, все должно было быть как-то иначе... Кроме того, однажды он увидел маленького Дэна, и это еще больше вызвало в нем негодование.

Маленький Дэн тоже закрутил свою косу на затылке и тоже с помощью бамбуковой палочки для еды. А-Кей никак не предполагал, что тот осмелится сделать это, и решил ни за что не допускать этого. Маленький Дэн! Что за птица такая? А-Кей сильно подумывал немедленно схватить его, сломать его бамбуковую палочку, распустить косу и надавать пощечин в наказание за то, что он забыл о ничтожестве своего рождения и посмел сделаться революционером. Но, в конце концов, он так и не тронул его, а только смерил гневным взглядом, плюнул и произнес:

— Тьфу!

За эти несколько дней в город ездил один только „фальшивый заморский чорт“. Кандидат Чжао тоже хотел было, помня об оставленных на хранение сундуках, лично поехать с визитом к господину ученому, но из опасения потерять косу не решился. Он написал официальное письмо ученому и поручил „фальшивому чорту“ отвезти его в город, а кроме того просил похлопотать и поручиться за него, чтобы записаться в революционеры. Когда „фальшивый чорт“ вернулся, он взял с кандидата четыре да-яна, а кандидат получил взамен серебряный значок в виде персика и нацепил его на верхнее платье.

Все вэйчжуанцы прониклись трепетом и говорили, что это очень важный значок,¹ не ниже, пожалуй, чем академика. Поэтому почтенный Чжао удостоился уважения гораздо большего, чем в то время, когда его сын получил степень кандидата.

В его собственных глазах все окружающие превратились в ничто, а когда он встречал А-Кея, то последний даже не входил в поле его зрения.

А-Кей остался очень недоволен и все время ощущал одиночество. Когда же он услышал историю с „серебряным персиком“, он моментально понял причину своего одиночества. Ведь, чтобы быть революционером, недостаточно только заявить о своем присоединении и закрутить косу тоже недостаточно. Самым важным является знакомство с революционерами.

За свою жизнь он встречался только с двумя: с тем, которому в городе — р-раз! — срубили голову, да вот теперь еще один. Это — „фальшивый заморский чорт“.

У него не оставалось другого пути, как немедленно пойти и посоветоваться с „фальшивым чортом“.

Ворота в доме Цянь были раскрыты, и А-Кей осторожно вошел в них. Едва он попал во-внутрь, как тут же испугался, увидев „фальшивого чорта“, который стоял посреди двора, весь в черном, вероятно, заморском платье. На нем был прицеплен серебряный персик, а в руке была палка, которую А-Кей когда-то испробовал. Успевшая отрасти коса была распущена по спине и плечам, и со своей растрепанной, лохматой головой он походил на святого Лю-Хая.² Против него, вытянувшись, стоял Чжао-Бай-янь с тремя посторонними, почтительно и со вниманием слушая его.

А-Кей потихоньку приблизился и остановился за спиной Чжао-Бай-яня, думая окликнуть хозяина, но не знал, как лучше сказать. Назвать его „фальшивым чортом“, конечно, не годится, „иностранец“ — тоже не подходит, „революционер“ — тоже. А может быть следует назвать его „господин иностранец“?

Между тем „господин иностранец“ не замечал его вовсе, и, закатив глаза, с вдохновением продолжал говорить:

— ... Я человек нетерпеливый. Поэтому, когда мы встре-

¹ В китайском тексте здесь игра слов, связанная с тем, что мало понятному тогда в деревнях слову „Цзы-ю-дан“, партия свободы, дана народная этимология. См. примечание к стр. 80.

² Лю Хай — народное божество из свиты бога богатства.

тились, я прямо сказал: „Брат Хун! Мы должны начать“. Но он все время отвечал: „No“ (это — иностранное слово, вам не понять), и если бы не так, мы победили давно бы... А кроме того, он был слишком осторожен в работе... Он раза три-четыре просил меня поехать в Ху-бэй,¹ но я все еще не решаюсь. Кому хочется работать в маленьком уездном городишке?

— Гм! — Это... — с решимостью начал было А-Кей, выждав, когда тот остановился, но почему то не назвав его „Господин иностранец“. Четверо слушавших испуганно повернулись к нему. „Господин иностранец“ тут только заметил его.

— Чего тебе?

— Я...

— Пошел вон!

— Я хочу сделаться...

— Убирайся!.. — И „господин иностранец“ замахнулся на него своим „похоронным посохом“.

Чжао Бай-янь и другие закричали:

— Господин приказывает тебе убираться, а ты не слушаешься?!

А-Кей, прикрыв голову руками, со всех ног бросился за ворота. „Господин иностранец“ не преследовал его.

Только пробежав шагов шестьдесят, он, наконец, пошел медленнее. В сердце поднялась тоска. „Господин иностранец“ не позволил ему стать революционером, другого же пути не было. Не придется больше надеяться на то, что люди в белых шлемах и панцырях позовут его, и все горделивые чаяния, стремления, надежды, планы будущего — все в один момент исчезло.

То, что бездельники разнесут это известие и дадут возможность таким людям, как маленький Дэн или Ван Бородатый, насмеяться над ним, было, в конце концов, делом второстепенным.

Казалось, он никогда еще не испытывал такой безнадежности. К собственной, закрученной на затылке, косе он словно потерял интерес, почувствовал даже презрение и из желания мести решил немедленно ее распустить, но все же этого не сделал. Пробродив до ночи, он выпил в долг две чашки вина, постепенно пришел в хорошее настроение, и в мыслях у него снова появились смутные образы белых лат в шлемах.

¹ Провинция Центрального Китая, в которой началась революция 1911 г.

Однажды, по обыкновению проболтав до ночи, пока не стала закрываться харчевня, он побрел домой в храм Земледелия. Трах-тарарах! — услышал он вдруг странные звуки, непохожие на треск хлопушек. А-Кей, который был любителем шума и происшествий, тотчас устремился в темноту. Впереди как-будто слышались звуки шагов, и, наконец, он ясно услышал, как кто-то бежал мимо него. Как только А-Кей его заметил, он моментально повернулся и бросился вдогонку. Человек тот завернул в сторону, А-Кей — тоже. Человек остановился, А-Кей — тоже. Когда же человек оглянулся, то оказалось, что это не кто иной, как маленький Дэн.

— В чем дело? — с тревогой спросил А-Кей.

— Чжао!.. Дом Чжао грабят!.. — задыхаясь, ответил Дэн. Сердце А-Кея сильно забилося.

Сказав это, маленький Дэн удалился.

Несколько раз А-Кей порывался бежать, но тут же останавливался. Однако, как человек, занимавшийся подобного рода промыслом и необычайно смелый, он добрался до угла улицы и, внимательно прислушиваясь, уловил какой-то шум, а столь же внимательно приглядевшись, заметил толпу людей, уносивших сундуки, утварь и кровать нинбосского образца, — и все это были люди в белых шлемах и латах. Впрочем, все в точности рассмотреть он не мог. Он подумал, было, подойти поближе, но ноги не повиновались...

В эту ночь не было луны, и в деревне Вэй-чжуан во мраке было так тихо, что эта тишина напоминала великий покой стародавних времен при мудреце Фу-Си.¹ А-Кей стоял пока хватило сил, а там, впереди, все входили и выходили люди, таскали сундуки, утварь, кровать нинбосского образца от жены кандидата. Он с трудом верил собственным глазам, однако решил не вмешиваться в дело и, наконец, вернулся в храм Земледелия.

В храме была совершенная темнота, как тушь...

А-Кей тщательно запер ворота и ощупью пробрался в свою каморку. Немного полежав, он успокоился, и тогда появились мысли о самом себе. Итак, люди в белых шлемах и латах пришли, но не позвали его с собой, повытаскали много хороших вещей, но его доли в этом не было...

¹ Легендарный император древности, при котором царил покой в государстве и который, по преданиям, изобрел письменность.

— Это все проклятый „фальшивый чорт“ не позволил мне стать мятежником, а то бы на этот раз так не случилось, что нет моей доли в этом деле, воскликнул А-Кей.

Чем больше А-Кей думал, тем больше сердился, и под конец вся душа его переполнилась горечью. Со злости мотнув головой, он сказал:

— Вот как? Мне вы не позволили быть мятежником, а вам можно? Ладно, „фальшивый чорт“! Ты — мятежник, а за это и рубят головы... Вот я и донесу... Посмотрим тогда, как тебя заберут да отрубят голову... Всем твоим отрубят!.. Р-раз!.. р-раз!..

IX

ВЕЛИКОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ

После нападения на дом Чжао все жители Вэй-чжуана почувствовали одновременно и удовлетворение и страх. А-Кей — тоже. А через четыре дня в полночь он был внезапно схвачен и отправлен в город.

В ту темную ночь отряд солдат, милиция и пять сыщиков незаметно подошли к Вэй-чжуану и, пользуясь темнотой, окружили храм, прямо против ворот выставив пулемет. А-Кей не показывался. Довольно долгое время незаметно было никакого движения... Тогда начальник отряда, потеряв терпение, назначил награду в двадцать да-янов, и только тогда двое милиционеров, пренебрегая опасностью, перелезли через стену. Соединенными усилиями изнутри и снаружи отряд всей массой проник в храм и арестовал А-Кея, который только тогда стал кое-что соображать, когда его уже вытащили на улицу к стоящему за храмом пулемету.

В город привезли А-Кея в полдень. В полуразрушенном ямыне¹ солдаты, покругив по тесным проходам, втокнули его в какую-то каморку. Едва успел он в нее пролезть, как деревянная дверь захлопнулась за ним, прищемив ему пятку. С трех других сторон были сплошные стены, а когда он осмотрелся внимательно, то оказалось, что в углу находятся еще два человека. Хотя сердце у А-Кея билось тревожно, но он не унывал, потому что его каморка там, в храме Земледелия, не была так

¹ Ямынь — уездное управление, присутственное место.

просторна и светла, как эта. Двое других людей были похожи на крестьян, и понемногу он разговорился с ними. Один из них заявил, что господин ученый ищет с него оброк, который задолжал его дедушка, другой же не знал, почему он сюда попал. Когда они в свою очередь спросили А-Кея, за что он попал, он немедленно заявил:

— Потому что я захотел быть революционером.

В тот же день, попозже, его отвезли в большой зал, в конце которого восседал старик с начисто выбритой блестящей головой. А-Кей подумал было, что это монах, но тут же заметил стоявший перед ним ряд солдат. По сторонам находились человек десять людей в длинных халатах, частью с бритыми головами, как и старик, частью же с длинными волосами, распущенными сзади, как у „фальшивого заморского чорта“. Все они, со злыми лицами, строго смотрели на него. Он сейчас же сообразил, что сидевший перед ним человек — птица важная. Ноги у него сами собой подогнулись, и он опустился на колени.

— Говори стоя! Не надо становиться на колени, — закричали на него люди в длинных халатах.

А-Кей как-будто понял, но чувствовал, что стоять не может. Тело клонилось непроизвольно, и, в конце концов, он опустился снова.

— Рабская душа! — с презрением сказали люди в халатах; но больше не заставляли его вставать.

— Говори всю правду, как было! Этим ты облегчишь свою участь. Я все уже знаю. Признаешься — отпустим тебя, — тихо и отчетливо произнес старик с блестящей головой, уставившись в лицо А-Кея.

— Сознавайся! — громко, в один голос крикнули люди в халатах.

— Я, собственно, хотел... пойти присоединиться... — запинаясь, ответил сбитый с толку А-Кей.

— Ну, так почему же ты не присоединился? — ласково спросил старик.

— „Фальшивый чорт“ не позволил!..

— Врешь! Теперь поздно выкручиваться... Где твои сообщники?

— Чего?

— Те, которые в тот вечер ограбили дом Чжао?

— Они не пришли за мной. Они сами все унесли, — заявил сердито А-Кей.

— А куда они ушли? Скажи, и мы тебя отпустим, — сказал старик еще ласковее.

— Не знаю... Они не пришли за мной...

Тут старик дал сигнал глазами, и А-Кей снова очутился в своей каморке.

Когда его во второй раз оттуда вывели, был полдень другого дня.

Большой зал был в том же виде, что и накануне. Сидел на возвышении все тот же старик с блестящей головой.

А-Кей попрежнему стал на колени.

— Можешь ты еще сказать что-нибудь? — ласково спросил старик.

А-Кей подумал, но говорить было нечего, и он ответил:

— Нет.

Тут человек в длинном халате принес бумагу и хотел всунуть ему в руку кисть. А-Кей так перепугался, что у него „душа вылетела вон“: ведь это случилось впервые, что его рука и кисть пришли в соприкосновение. Он просто не знал, как ее держать. Тогда человек показал ему место и приказал нарисовать круг.¹

— Я... я... не умею писать, — сказал испуганный и сконфуженный А-Кей, сжимая кисть.

— И не надо... Рисуй круг, и ладно.

А-Кей постарался это сделать, но рука его с кистью задрожала, и тогда человек разложил бумагу на земле. А-Кей пригнулся и напряг все свои силы, чтобы изобразить круг, как следует. Боясь, что его засмеют, он старался нарисовать его круглым, но эта проклятая кисть оказалась не только тяжелой, но и непослушной. Напрягаясь и дрожа, он почти уже заканчивал круг, но тут кисть ткнулась в сторону, и круг вышел вроде дыни. А-Кей почувствовал стыд за свое неумение, но человек, не обращая внимания, сразу же забрал бумагу и кисть, а потом его опять втолкнули в каморку.

В третий раз попав за перегородку, он не очень обеспокоился. Он считал естественным, что человека, рожденного в этом мире, постоянно то куда-то вталкивают, то откуда-то

¹ Неграмотные ставят в Китае круг так же, как у нас крест.

выталкивают, то от него требуют рисовать на бумаге какие-то круги... Но вот, что круг не вышел круглым — это, пожалуй, ляжет пятном на всю его жизнь.

Однако скоро он успокоился, подумав: „Зато мои внуки будут рисовать совсем круглые...“ С этим он заснул.

Наоборот, в эту ночь господин ученый никак не мог заснуть: он повздорил с начальником отряда. Господин ученый считал самым важным найти похищенное, а начальник отряда самым главным считал наказание, чтобы другим было неповадно, причем он совершенно ни во что не ставил господина ученого, стуча кулаком по столу и скамье, и наконец, заявил:

— Расправиться с одним, это значит — устроить сотню. Вот, смотри, — я только дней двадцать, как стал революционером, а уже случилось больше десяти ограблений, и ни одно из них не раскрыто... Где же моя репутация?... Мы тут дело делаем, а ты приходишь и мешаешь. Отстань! Это касается только меня.

Господин ученый попал в затруднительное положение, но все же держался твердо и заявил, что, если не будет найдено похищенное, он немедленно откажется от своей должности по гражданскому управлению, на что начальник отряда ответил: „Сделай одолжение“. Благодаря этому господин ученый и не мог заснуть в ту ночь. К счастью, на другой день он не отказался от своей должности.

А-Кей в третий раз вытащили из его каморки, на следующее утро после бессонной ночи господина ученого. Опять он очутился в большом зале, на возвышении сидел все тот же старик с блестящей головой, и А-Кей опять опустился на колени.

„Есть у тебя еще что-нибудь сказать? — очень ласково спросил старик.

А-Кей подумал, говорить было нечего, и он ответил.

— Нет.

Какие-то люди, кто в длинном, кто в коротком платье, вдруг надели на него белый жилет из заграничной материи, с черными знаками на нем. А-Кей очень огорчился, потому что это сильно смахивало на траур, а траур — дурная примета. Тут же ему скрутили руки на спине, сразу же вывели его из „ямы“, усадили на телегу без верха, и несколько человек в коротком платье уселись с ним вместе.

Телега тотчас же тронулась. Впереди шел отряд солдат с заморскими ружьями на плечах и милиция, по обеим сторонам стояли зрители с раскрытыми ртами, а что было сзади, того А-Кей не видел.

И вдруг он понял: уж не хотят ли отрубить ему голову? Мгновенно в глазах потемнело, зазвенело в ушах, и он как будто потерял сознание, но не совсем. А когда временами оно прояснялось, он думал, что для человека, рожденного в этом мире, бывают и такие минуты, когда ему не избежать казни...

Хотя он узнавал дорогу, но в то же время ему казалось странным, почему они не направляются к месту казни. Он не знал, что его возят по улицам на показ для устрашения других. Но если бы он и знал, все равно он подумал бы, что для человека, рожденного в этом мире, бывают моменты, когда не избежать и этого...

Он уже знал теперь, что этот извилистый путь ведет на площадь, где происходят казни, и что это означает р-раз!... и голова долой.

Он безучастно взглянул направо, налево. Всюду, как муравьи, суетились люди, и неожиданно, в толпе их, на краю дороги он заметил У-Ма. Давно они не встречались!.. Значит, она работала в городе!

И вдруг А-Кей стало стыдно, что в нем нет доблести: ведь он не спел еще ни одной песни.¹ Мысли, словно вихрь, закружились в его мозгу. „Молодая вдова на могиле“ — не хватает величественности. „Не жалея“, из „Битвы тигра с драконом“, тоже слабо, пожалуй. „В руке держу стальную плетъ“ годится... Он уже хотел взмахнуть рукой, но вспомнил, что руки связаны, и не запел...

— Через двадцать лет придет другой, такой же как я...² — в возбуждении выкрикнул А-Кей неоконченную фразу, которую он никогда еще не произносил и которая родилась сама собой без чьей-либо помощи.

— Хорошо!! — донеслось из толпы, как волчий вой...

Телега, не останавливаясь, подвигалась вперед, и под гром одобрений А-Кей искал глазами У-Ма; но она его не

¹ По традиции, идущие на казнь доказывают свою твердость пением героических песен.

² Обычный выкрик идущих на казнь, основанный на вере в перерождение.

замечала, с увлечением глаза на заморские ружья на плечах у солдат. Тогда А-Кей опять взглянул на возбужденных людей. И в то же мгновение мысли снова закружились в его голове. Четыре года тому назад, у подножья гор, он встретил голодного волка, который все время, не отставая, следовал за ним, собираясь пожрать его. Тогда он был перепуган насмерть, но к счастью, в руке у него был нож, и это придало ему храбрости добраться до деревни. Но навсегда запомнились ему волчьи глаза, жестокие и злые, сверкавшие точно два дьявольских огонька и как бы впивавшиеся в его тело... И на этот раз он увидел никогда не виданные, страшные глаза, пронизывающие... сверлящие... Они не только пожирали его слова, они хотели пожрать и то, что лежало вне его тела, и все время неотступно следовали за ним. Эти глаза словно соединились в одни и пожирали его душу.

— Спасите!

Но А-Кей не крикнул этого слова. В глазах его потемнело, в ушах прозвенел удар, и он почувствовал, будто все его тело разлетелось мелкой пылью...

Что касается последствий этого события, то наибольшая неприятность выпала на долю господина ученого, так как похищенное осталось необнаруженным, и все семейство пребывало в горести и печали. Следующим было семейство Чжао не только потому, что во время поездки кандидата в город, чтобы пожаловаться властям, безбожные революционеры срезали у него косу, но и потому, что пришлось уплатить им еще двадцать да-янов штрафу, так что весь дом тоже пребывал в горести и печали. Начиная с этого дня, потерпевшие стали постепенно проявлять влечение к консерватизму.

Что же касается общественного мнения, то в Вэй-чжуане не было двух мнений, и, конечно, все говорили, что А-Кей был плох, доказательством чего и служит его казнь. Не будь он плохим, разве его расстреляли бы?

Общественное же мнение в городе тоже было не на стороне А-Кея. Большинство оставалось недовольно, считая, что расстрел не так интересен, как обезглавливанье. И потом, что это за смешной преступник? Так долго ездил по улицам и не спел ни одной песни! Напрасно за ним ходили, время теряли...

ИЗ „ДИКИХ ТРАВ“

РАЗГОВОР С СОБАКОЙ

Я видел себя во сне идущим по узкому переулку, одежда на мне была вся в лохмотьях, как у нищего.

За моей спиной залаяла собака.

Я с пренебрежением повернулся к ней, прикрикнул:

— Ну, заткни пасть! Ты, подлая собака.

— Хи-хи!.. — Она засмеялась и тут же заговорила: — Как смею? Мне ведь так стыдно, что я не похожа на человека.

— Что? — Меня охватил гнев, я почувствовал в словах собаки великое презрение ко мне.

— О, я пристыжена. Я ведь так и не знаю разницы между медью и серебром и не знаю разницы между грубым холстом и шелком, и не знаю разницы между человеком из народа и чиновником, и не знаю разницы между господином и рабом, и не знаю...

Я побежал.

— Поймай! Поговорим еще... — Она старалась удержать меня, громко лая за моей спиной.

Я быстро бежал, я рвался изо всех сил, пока не вырвался из этого сна...

Я лежал на своей постели.

ПОБЕГ НА ЛУНУ¹

I

Умное животное в самом деле понимало мысли человека: как только он взглядывал на ворота дома, — лошадь сразу замедляла шаг и вместе с хозяином, сидевшим на ее спине, вешала голову и через каждый шаг топталась на месте, точно обдирала рис.

Вечерние облака покрывали большой дом, над соседними строениями поднимались дымы очагов — было время ужина. Воины его дома услышали шум копыт и давно уже вышли встречать его, опустив руки и выпрямившись, все они стояли перед воротами дома. Стрелок И лениво сошел с лошади у кучи мусора, слуги приняли от него поводья и плетъ. Когда он хотел перешагнуть через порог в большие ворота, он нагнул голову и посмотрел на висевший у пояса сосуд, наполненный новенькими стрелами и на сетку с тремя черными воронами и маленьким разбитым стрелой воробьем. Необычайная нерешительность была в его сердце. Однако он все же большими шагами упрямо пошел вперед, стрелы в сосуде звенели.

Вступая во внутренний двор, он увидел что Чаннго высунула голову в круглое окно. Он знал, как быстр ее взор: она, конечно, уже заприметила этих черных ворон; незаметно для себя он испугался, и, когда он поднимался, ноги его на миг остановились, но итти было можно только вперед. Все служанки вышли встретить его, они сняли с него лук и стрелы, отвязали сетку. Ему казалось, что он ощущает горькую улыбку на их губах.

¹ Сюжетом для этой новеллы Лу Синь взял древнюю легенду об искусном стрелке И и фее луны Чаннго. Согласно легенде, И жил в начале второго тысячелетия до нашей эры.

— „Супруга“... — позвал он, входя во внутренние покои и вытирая руки и лицо. Чаннго в это время смотрела на предвечернее небо в круглом окне, она медленно повернула голову, бросила на него взгляд, точно едва достаивая его вниманием и не ответила.

К этому И привык уже давно, самое малое год с лишним. Он как всегда приблизился к ней, сел на деревянное ложе, покрытое старой леопардовой шкурой с облезшей шерстью, и, почесывая затылок, сказал, точно возражая ей:

— Сегодня судьба попрежнему не благоприятствовала мне, у меня только черные вороны.

— Ах! — Чаннго подняла свои изогнутые, как ветви ивы, брови, вдруг вскочила, как ветер выпорхнула из комнаты, ворча и жалуясь сквозь зубы: „Опять лапша с приправой из черных ворон! Ты бы пошел кого спросил, в какой семье целый год едят только лапшу с приправой из вороньего мяса. Поистине, я не знаю, что за судьба моя! Выдали меня сюда замуж, и весь год я ем лишь лапшу с приправой из черных ворон“.

— Супруга! — И быстро вскочил и, следуя за нею, заговорил шопотом: но только сегодня все же немного лучше, я, кроме того, подстрелил воробья, можно его приготовить тебе. — Нюйсинь, громко позвал он служанку, — принеси того воробья показать госпоже. Дичь была уже отнесена на кухню, и Нюйсинь побежала за ней туда; почтительно держа воробья двумя руками, она поднесла его к глазам Чаннго.

Чаннго мельком взглянула на воробья, медленно протянула руку и безрадостно сказала: „Одни остатки! разве же он не разбит вдребезги? Где же мясо?“

— Да, — И очень испугался, — он разбит стрелою, лук мой очень крепок и наконечники стрел очень велики.

— А ты не мог бы брать наконечники стрел немного поменьше?

— У меня нет маленьких: с тех пор как я подстрелил большого вепря и длинную змею...

— Так разве это большой вепрь и длинная змея? — сказала она, тут же повернула голову, чтобы приказать Нюйсинь: „Поставь чашку супа!“ и опять вернулась в свою комнату.

Только И как дурак остался в средней комнате и сел, прислонясь к стене; он слышал, как в кухне трещат дрова

и солома. Он вспомнил, как велик был в тот год большой вебрь, — посмотреть издали — точно маленький холм. Что если бы тогда не убивать его, оставить на тепер, можно было бы есть его полгода, и тогда к чему бы каждый день беспокоиться о пище? А еще длинная змея! из нее бы тоже можно было делать суп...

Вошла Нюйсинь и зажгла лампу; висевшие на противоположной стене красный лук и красный дротик, черный лук и черный дротик, самострел, длинный меч и короткий меч, — все это при свете лампы выступило теперь из мрака. И, едва взглянув на это, опустил голову и вздохнул, он видел только, как Нюйсинь внесла ужин и поставила его на стол посредине: справа было пять больших чашек с белой лапшей, слева две большие чашки и чашка супу: в центре большая чашка с приправой. И сам чувствовал, что и верно — невкусно; он украдкой взглянул на Чаннго, та, как говорится, и смотрела и не смотрела на приправу и макала лапшу в один суп, съела половину чашки и отставила остальное. Он заметил, что лицо Чаннго как-будто даже немного пожелтело и похудело и испугался: не больна ли она.

Ко второй ночной страже¹ она как-будто немного успокоилась, молча сидела на краю постели и пила воду. И сидел на деревянной лежанке рядом и потирал рукой лишенную шерсти старую шкуру леопарда.

— Ах, — сказал он примирительно, — этот пятнистый леопард с западных гор был подстрелен еще до нашей свадьбы. Как он тогда был красив, все тело было у него желтое с золотым блеском. Он тут вспомнил еду того времени: от медведей ели только четыре лапы, от верблюда оставляли горб, все остальное дарили служанкам и воинам дома. Потом все крупные животные были перестреляны, тогда ели диких свиней, зайцев, горных фазанов. Да и искусство стрельбы было высоким: сколько хотели — столько и имели. „Ах“, он невольно вздохнул. „Мое искусство стрелы было слишком прекрасно, в конце концов было перебито все, и кругом ничего не осталось. Кто бы тогда подумал, что на пищу нам будут одни лишь черные вороны...“

— Увы, — Чаннго едва заметно улыбнулась.

¹ 9—11 час. вечера.

— Сегодняшний день надо считать еще удачным, — И тоже немного оживился. — Все-таки я добыл одного воробья! И того я отыскал, покружив вдали на тридцать ли пути.

— А ты бы не мог проехать еще немного дальше?

— Верно, жена, я и сам так думаю. Завтра я хочу встать немного пораньше. Если ты завтра рано проснешься, разбуди меня. Я готов ехать еще дальше, ли за пятьдесят, посмотрю, может быть, там найдется косуля или заяц... Но только боюсь, что тоже едва ли. Когда я убил большого вепря и длинную змею, сколько было дичи? Ты ведь еще помнишь: перед воротами тещи постоянно проходили черные медведи, и сколько раз звали меня стрелять их...

— Что? — Чаннго как-будто не очень помнила.

— А теперь стало и совсем голо. В будущем право не знаю, как мы проживем день. Ну, для меня-то это совсем не важно. Стоит мне проглотить подаренную даосским монахом волшебную золотую пилюлю бессмертия, и я полечу на небо. Однако, прежде всего я думаю о тебе, поэтому и решил завтра ехать подальше.

— Ах! — Чаннго уже напилась воды, потихоньку улеглась и закрыла глаза.

Тускнеющий огонь жировой лампы озаряет потускневшие за день краски на ней: пудра немного осыпалась, видно, что круги вокруг ее глаз едва желтеют, даже сурьма на бровях как-будто тоже лежит не совсем ровно с обеих сторон, и только губы попрежнему красны как огонь; хотя она больше не смеется, на ее щеках все еще видны крошечные ямочки.

„Ай, ай, такая женщина, а я весь год кормлю ее только одной лапшой с приправой из черных ворон...“ И, вспомнив об этом, почувствовал стыд, и обе щеки его запылали до самых ушей.

II

Прошла ночь, наступил следующий день.

И вдруг открыл глаза и как только увидел бьющий в западную стену косой луч солнца, он понял, что время раннее. Взглянул на Чаннго, — она спала, раскинув руки и ноги. Он очень осторожно и тихо набросил на себя одежду, сполз со своего покрытого леопардовой шкурой ложа и заковылял

в переднюю; моя лицо, он тут же послал служанку Нюйгэн приказать Ван Шэн'у готовить лошадь.

Так как с делом он всегда спешил, то давно уже отказался от завтрака. Нюйи взяла пять пирожков, пять луковиц и сверток с пряностями и положила все это ему в сетку, и лук и стрелы были уже привязаны для него к поясу. Он завязал пояс, легко выскочил из комнаты и сразу дал наставление подошедшей с другой стороны Нюйгэн:

— Я сегодня думаю поехать поискать нам еду подальше, вернусь тоже немного попозже. Ты же смотри, как проснется госпожа, съест свой завтрак и станет немного повеселее, ты тогда пойди к ней и доложи, скажи, что ужина я просил ее подождать, очень прошу меня извинить. Запомнила? Ты ей скажешь: очень просил извинить.

Он быстрым шагом вышел за ворота, вскочил на лошадь, оставил за собою стоявших кругом его воинов дома, и не прошло и мига, как он уже галопом выехал из поместья. Впереди были изъезженные за каждый день привычные поля гаоляна, он не обратил на поля никакого внимания, давно зная, что там ничего нет. Он два раза ударил плетью и полетел прямо вперед. Одним духом проскакав ли шестьдесят, увидел вдали перед собою очень густой, пышно разросшийся лесок; лошадь мчалась, не переводя дыхания, со всего ее тела струился пот, она сама замедлила шаг. Он проехал еще наверно ли десять и тогда только приблизился к леску. Перед глазами его мелькали осы, бабочки, большие черные муравьи, кузнечики, но где же какой-нибудь след птицы или зверя?

Когда он издали разглядывал эти новые места, он считал, что самое малое он добудет здесь одну-две лисицы или зайца, теперь он понял, что и это было мечтой. Как только он обогнул лес, он увидел, что дальше опять тянутся голубовато-зеленые поля гаоляна, а вдали за ними разбросано несколько крошечных глиняных мазанок. Ветер был теплый, солнце грело, не слышно было даже крика ворон или воробьев. „Несчастье!“ крикнул он во всю мочь, громко изливая свою досаду.

Однако, когда он проехал еще шагов десять вперед, сердце его сразу расцвело, и гнев пропал, — вдали на равнине перед одной из мазанок он увидел сидевшую птицу, она ходила по земле и клевала, по виду это был очень крупный голубь. И, волнуясь, поспешно выхватил лук и наложил стрелу, натянул

тетиву до отказа, отпустил руку — стрела полетела как падающая звезда. Тут не надо было сомневаться, прежде стоило ему только выстрелить, и он непременно попадал в цель; ему нужно было лишь подхлестнуть лошадь и мчаться вперед вслед за стрелой, и можно было подбирать добычу. Кто бы мог знать, что, когда он приблизится, там уже окажется какая-то старуха с пронзенным стрелою голубем в руках; она громко кричала и лезла прямо на морду лошади. „Кто ты такой? Зачем ты убил нашу лучшую черную курочку? Как это ты дал такую волю своим рукам?“

Сердце И невольно дрогнуло, он быстро остановил лошадь. — Ай-я! так это курица? А я-то думал, что это голубь, — сказал он испуганно.

— Ослепли твои глаза! Вижу, что тебе лет уже за сорок.

— Да, старая госпожа. Мне в прошлом году исполнилось сорок пять лет.

— Вот уж верно. Без толку ты рос, попусту и вырос. Курицы и той не узнал, — принял за голубя. Да кто же ты такой?

— А я — И И, ответил он, слезая с лошади и поглядывая на выпущенную им стрелу, — стрела пронизала самое сердце курицы, и та, конечно, была мертва. Последние два слова он произнес не совсем внятно.

— И И... Кто же это? я не знаю, — сказала старуха, глядя ему в лицо.

— А некоторые люди, раз обо мне услышав, уже меня знают. Еще во времена почтенного царя Яо я уже подстрелил несколько диких свиней и несколько змей...

— Ха-ха, и плут же, всех их подстрелил почтенный господин Фын Мын вместе с другими. Может быть, и ты был с ними... А ты говоришь, что это ты сам, — совсем видно не знаешь стыда.

— Ай-ай, старая госпожа. Этот Фын Мын шляется ко мне всегда в последние годы, не более. Я к тому же никогда не был с ним в товарищах, мы совсем разные люди.

— И врешь. В последнее время люди всегда о нем говорят. Я за месяц о нем слышу раза по четыре, по пять.

— И хорошо! Поговорим-ка о настоящем деле. Как быть с этой курицей?

— Купи. Это в нашем доме лучшая наседка, каждый-то день несла яйца. Отдай мне за нее две мотыки да три прядильных утка.

— Старая госпожа, ты же видишь сама, что я за человек, — не пашу и не пряду, откуда же у меня мотыки и утки. И денег со мной тоже нет, есть пять пирожков, но сделаны они из белой муки, вот и возьми их за свою курицу, к ним прибавлю еще пять луковиц и сверток пряностей. Ну, как ты считаешь...

Он одной рукой вытаскивал из сетки пирожки, другую протянул за курицей.

Старуха, завидя его белые пирожки, как-будто соглашалась, но определила за курицу пятнадцать пирожков. В результате торга кое-как остановились на десяти и условились, что самое позднее завтра в полдень он пришлет остальные; в залог она оставляла стрелу, которой была подстрелена курица. На сердце у И сразу стало легче, он запихал в сетку мертвую курицу, вскочил на седло и повернул лошадь обратно. Хотя желудок его был пуст, но сердце было полно радости, они ведь год с лишним не пробовали курицы.

Когда он огибал лесок, время было уже за полдень, он подхлестнул лошадь и быстрее погнал ее к дому, но силы лошади ослабли, и, когда он подъезжал к привычному гаолянному полю, наступили желтые сумерки. Он едва успел заметить вдали против себя тень человека, как вдруг вслед затем в него полетела стрела. И, не останавливая лошадь, дав ей волю скакать, тут же сам схватил лук и наложил стрелу; только он успел выстрелить, как раздался легкий звон металла — острие одной стрелы попало в острие другой, в воздухе брызнуло несколько искр, стрелы столкнулись вверху концами, образовав знак человека,¹ перевернулись и упали на землю. Как только столкнулись первые стрелы, оба противника сразу послали друг в друга и вторые, — опять послышался металлический звон, — стрелы сшиблись на половине пути. Так они стреляли девять раз, — у И кончились все стрелы. Однако он в это время уже разглядел Фын Мына, стоявшего с довольным видом против него, — тот накладывал на тетиву последнюю стрелу и метил прямо в горло И. — „Ха-ха, я-то считал, что он давно уже отправился на морской берег щупать рыб, а он, оказывается, в этих местах творит такие дела. Неудивительно, что говорила та старуха...“, — подумал И.

¹ Знак человека пишется двумя чертами, соединенными в вершине и расходящимися книзу.

Вот лук против него выгнулся как полный месяц, и стрела понеслась как падающая звезда. Короткий свист, стрела летела прямо в горло И. Быть может, стрелок чуть-чуть уклонился в прицеле, — стрела попала в рот И. Кувырк! Пронзенный стрелой он свалился с лошади, лошадь встала.

Фын Мын, видя, что И убит, медленно заковылял к нему, усмехаясь, он шел взглянуть на мертвое лицо И, считая, что сам он испил уже чарку вина победы. Но, когда Фын Мын остановил взор на враге, он заметил, что И открыл глаза, вдруг выпрямился и сел. — Верно, зря ты ходил ко мне больше ста раз, — смеясь сказал И, выплюнув стрелу. — Разве ты ничего не знал про мое искусство кусать наконечники стрел. Что же поделаешь? Сыграть эту твою мелкую игру и то не сумел. Как говорят: „украденный кулак не убивает своего хозяина. Нужно было тебе самому поучиться, — тогда бы вышло!“

— Достоинство сего человека обрати против самого сего человека, — тихо сказал победитель.

— Ха ха-ха, — И поднялся на ноги, громко смеясь. — Ты еще цитируешь классиков и приводишь в доказательство каноны!¹ Это ты можешь кричать лишь старухам, а перед настоящими людьми к чему болтать вздор. Мне до сих пор приходилось только охотиться, но никогда еще не доводилось иметь дело с таким забавником, разбойничающим по дорогам как ты, — сказал он и, увидев, что курица в сетке совсем не помялась, снова сел на лошадь и тронулся в путь...

— ...пробил колокол к твоим похоронам, — издали все еще слал ругательства Фын Мын.

„Вот уж не думал, что так из него и не будет никакого проку, — с самых зеленых молодых лет он уже выучился проклинять. Неудивительно, что ему так поверила эта старуха“, — думал И, сидя на лошади, и незаметно для себя безнадежно покачивал головою.

Он еще не проехал полей гаоляна, а небо уже потемнело, в синей пустыне показались светлые звезды, Чангэн² на западе была необычайно ярка. Лошадь в потемках могла двигаться только по белой насыпи полевой межи, к тому же мышцы ее

¹ Умышленный анахронизм, допущенный автором. Классики появляются только во второй половине первого тысячелетия до нашей эры.

² Венера.

давно ослабели, и силы иссякли, она, конечно, пошла еще тише. К счастью, луна появилась на краю неба и все шире и шире разливала кругом свое чистое серебряно-белое сияние.

„Несчастье!“ И услышал, как урчало у него в животе, сидеть на лошади ему стало неловко. „Чем больше рассчитываешь, как добыть на жизнь, тем чаще попадешь в безвыходное положение, только зря тратишь время“. Он обеими ногами ударил по брюху лошади, побуждая ее идти быстрее, но лошадь только подбросила задом и попрежнему бежала медленной рысцой.

— Чаннго, конечно, рассердилась, ты смотри, как сегодня поздно, думал он. — Сказать не сумею, какое лицо она состроит, когда взглянет на меня. Но вот по счастью у меня эта курочка, она может Чаннго развеселить. Мне только надо сказать: „супруга, я ее отыскал, лишь проскакав двести ли пути... Нет, не хорошо, это, пожалуй, будет уж слишком хвастливо“. Он издали заметил перед собой огонек человеческого жилья, сразу обрадовался и больше не раздумывал. Лошадь тоже не ждала удара плетью — полетела сама. Круглая снежнобелая луна освещала путь, холодный ветер обдувал лицо, и, верно, теперь стало даже веселее, нежели в то время, когда он возвращался с больших охот.

Лошадь сама остановилась у кучи мусора. И с первого взгляда точно почувствовал, что произошло нечто странное, неизвестно, почему ему показалось, что в доме беспорядок. Даже встречать его вышел один только Чжао Фу.

— Что так? А Ван Шэн? — спросил он удивленно.

— Ван Шэн ушел в дом Яо искать госпожу.

— Что? Разве госпожа ушла в дом Яо, — спросил И, все еще продолжая с бессмысленным видом сидеть на лошади.

— Да... да... — ответил Чжао Фу, принимая повод и плеть.

И слез с лошади, шагнул в ворота, подумал и снова, повернув голову, спросил:

— Быть может, не дождалась, и сама отправилась в харчевню?

— Да. В трех харчевнях люди везде спрашивали, — нигде нет.

И, опустив голову, в раздумье прошел внутрь, — три служанки боязливо жались в передней. Он опять очень удивился и громко спросил:

— Вы все дома? Разве госпожа когда-нибудь прежде ходила в дом Яо одна? — Они не отвечали и только, глядя ему

в лицо, подошли снять с него чехол с луком, сосуд со стрелами и сетку с положенной в нее курицей. И вдруг испугался, все тело его настороженно напряглось, — он понял, что Чанго в припадке возмущения пошла искать себе смерти. Тут же он велел Нюйгэн пойти кликнуть Чжао Фу, — он хотел, чтобы тот отправился на задний дворик и посмотрел бы там в пруду и на деревьях. Однако, как только он шагнул в комнату, он понял, что эта догадка неверна: в комнате был также полный беспорядок, — сундуки с платьем были открыты. И взглянул на постель и сразу обнаружил пропажу ящика с головными украшениями. В это время он почувствовал себя так, точно ему на голову вылили чашку холодной воды, — золото и жемчуг, конечно, ничего не стоили, но это подаренное ему даосским монахом волшебное лекарство, оно ведь тоже было положено в ящичек с головными украшениями. И, сделав два круга по комнате, увидел, что Ван Шэн стоит за дверями.

— Вернулся, господин, — сказал Ван Шэн, — госпожи нет в доме Яо; да они сегодня и не играли в карты.

И, едва взглянув на него, не раскрывал рта. Ван Шэн попятился и вышел.

— Господин звал? — спросил Чжао Фу, входя.

И мотнул головой, замахал руками и прикрикнул, чтобы тот тоже убирался вон. И сделал еще несколько кругов по комнате и вышел в переднюю; он сел, поднял голову и стал рассматривать висевший на противоположной стене красный лук и красный дротик, черный лук и черный дротик, самострел, длинный меч и короткий меч.

Подумав немного, он спросил у стоявших внизу с растерянным и глупым видом служанок:

— С какого времени вы не видели госпожу?

— Когда брали лампы, ее уже не было видно, — ответила Нюйсинь, — но никто не видел, как она выходила.

— А не видели, не скушала ли госпожа лекарство из этого ящика?

— Мы этого не видели. Но только она после полудня просила меня налить воду для питья, — это вот было.

И сразу приподнялся, он, кажется, понял, что сам он оставлен одиноким на земле.

— А вы не видели, не поднималось ли что-нибудь на небо? — спросил он.

— О! — Нюйсинь немного подумала и с выражением большого сомнения на лице сказала: „Когда я выходила зажигать лампу, я действительно видела какую-то черную тень, улетающую в ту сторону, но я в то время никак бы не догадалась, что это госпожа...“ Ее лицо сразу посерело. — Конечно, это так и есть, — И хлопнул себя по колену, сразу вскочил и вышел из дома; оборотясь к Нюйсинь, он спросил: — В какую сторону?

Нюйсинь показала рукой. Следуя взором за рукой, он увидел там только повисшую в пространстве снежнобелую круглую луну, на ней еще едва заметно выступали башни, террасы и леса. Он смутно вспомнил теперь красоты лунного дворца, о которых рассказывала ему бабушка, когда он был еще ребенком.

Теперь перед точно плывущей в голубом море луною он ощущал свое собственное тело непривычно и слишком тяжелым. Его вдруг охватил гнев, и в гневе возникло желание убить, глаза его широко раскрылись и стали круглыми; голосом, звучащим как гром, он крикнул служанкам: — Принесите мой лук, бьющий в солнце, и три стрелы. Нюйи и Нюйгэн взяли из комнаты этот крепкий и огромный лук, смахнули с него пыль и вместе с тремя длинными стрелами передали лук в руки И. Он принял в одну руку лук, в другую взял три стрелы и, наложив их все три, натянул до отказа тетиву лука и повернулся прямо к луне. Тело его выпрямилось и стояло как скала из целого камня, глаза смотрели прямо и сверкали как молнии под скалой, борода и волосы на голове поднялись, вытянулись и зашевелились — они стали подобны черному огню; это мгновение, казалось, давало людям возможность воочию представить себе его дерзкую смелость тех лет, когда он стрелял в солнце. Раздался свист, — свист только одной стрелы, а он уже выпустил все три; как только он делал выстрел, он сразу накладывал новую стрелу и, наложив вторую стрелу на тетиву, снова отпускал лук; глаза не успевали разглядеть искусство его рук, и уши не успевали различить свист отдельных стрел. Хотя противник в сущности был поражен тремя стрелами, но все они должны были собраться в одном месте, и так как стрелы летели одна в одну, как говорится, „поглощая друг друга“, они не отделялись в полете ни на волос, ни на шелковинку. Однако, стараясь вернее попасть, он во время выстрела едва заметно двигал рукою, чтобы стрелы в нужное время разошлись, образовали три точки и нанесли три раны. Служанки вскрикнули

— О! — Нюйсинь немного подумала и с выражением большого сомнения на лице сказала: „Когда я выходила зажигать лампу, я действительно видела какую-то черную тень, улетающую в ту сторону, но я в то время никак бы не догадалась, что это госпожа...“ Ее лицо сразу посерело. — Конечно, это так и есть, — И хлопнул себя по колену, сразу вскочил и вышел из дома; оборотясь к Нюйсинь, он спросил: — В какую сторону?

Нюйсинь показала рукой. Следуя взором за рукой, он увидел там только повисшую в пространстве снежнобелую круглую луну, на ней еще едва заметно выступали башни, террасы и леса. Он смутно вспомнил теперь красоты лунного дворца, о которых рассказывала ему бабушка, когда он был еще ребенком.

Теперь перед точно плывущей в голубом море луною он ощущал свое собственное тело непривычно и слишком тяжелым. Его вдруг охватил гнев, и в гневе возникло желание убить, глаза его широко раскрылись и стали круглыми; голосом, звучащим как гром, он крикнул служанкам: — Принесите мой лук, бьющий в солнце, и три стрелы. Нюйи и Нюйгэн взяли из комнаты этот крепкий и огромный лук, смахнули с него пыль и вместе с тремя длинными стрелами передали лук в руки И. Он принял в одну руку лук, в другую взял три стрелы и, наложив их все три, натянул до отказа тетиву лука и повернулся прямо к луне. Тело его выпрямилось и стояло как скала из целого камня, глаза смотрели прямо и сверкали как молнии под скалой, борода и волосы на голове поднялись, вытянулись и зашевелились — они стали подобны черному огню; это мгновение, казалось, давало людям возможность воочию представить себе его дерзкую смелость тех лет, когда он стрелял в солнце. Раздался свист, — свист только одной стрелы, а он уже выпустил все три; как только он делал выстрел, он сразу накладывал новую стрелу и, наложив вторую стрелу на тетиву, снова отпускал лук; глаза не успевали разглядеть искусство его рук, и уши не успевали различить свист отдельных стрел. Хотя противник в сущности был поражен тремя стрелами, но все они должны были собраться в одном месте, и так как стрелы летели одна в одну, как говорится, „поглощая друг друга“, они не отделялись в полете ни на волос, ни на шелковинку. Однако, стараясь вернее попасть, он во время выстрела едва заметно двигал рукою, чтобы стрелы в нужное время разошлись, образовали три точки и нанесли три раны. Служанки вскрикнули

в голос, все увидели, что луна лишь покачнулась, думали, что она вот-вот упадет, но она продолжала спокойно висеть в пространстве и лить свой мирный, еще более яркий свет, точно она не понесла ни малейшего ущерба.

— Тай! — вскрикнул И, поднимая взор к небу; он поглядел немного, но луна не обращала на него никакого внимания. Он сделал три шага вперед, и луна отступила на три шага, отступил на три шага, и луна, сияя, опять несколько подвинулась вперед.

Все они молчали, все глядели друг другу в лицо. И медленно прислонил к дверям бьющий в солнце лук и вошел в комнату. Служанки толпой последовали за ним.

— Ай, — вздохнул И, садясь, — вот ваша госпожа одна будет наслаждаться вечным блаженством. Что же, она в конце концов смогла бросить меня, предоставляя мне самому подняться на небо? Не иначе, как она заметила, что я начинаю стареть. Однако на луне она еще скажет: „не так важна старость, а вот если человек успокаивается, сам считая себя стариком, тут уже настоящий упадок его мысли и духа“.

— Это, конечно, не так, — возразила Нюйи, некоторые люди говорят, что господин все еще воин.

— Иногда посмотришь, так господин просто искусник, — добавила Нюйсинь.

— Ну это собачьи зады распустили вонь. Врете вы... попросту лапша с приправой из черных ворон и в самом деле невкусна, чему же удивляться, что она не вытерпела?..

— На этом покрывале из леопардовой шкуры местами совсем вылезла шерсть, я пойду и отрежу немножко кожи с лап, они ведь прилегают к стене, да поставлю заплаты, а так очень уже некрасиво. Нюйсинь направилась в комнату.

— Погоди, — сказал И, немного подумав, это совсем не к спеху. Я, по правде сказать, очень голоден, поди-ка поскорее приготовь мне курицу с перцем, да испеки штук пять больших лепешек, дай мне ужинать и будем спать. Завтра я снова отправлюсь поискать того даоса и попрошу у него еще порошок волшебного лекарства, приму лекарство и поднимусь на небо вслед за ней. Нюйгэн, поди прикажи Ван Шэну, чтобы он отсыпал четыре мерки белых бобов и покормил бы лошадь.

МОЛЕНИЕ О СЧАСТЬЕ¹

Конец года по старому лунному календарю больше всего и походит на конец года, а на селе об этом не стоит и говорить, там даже в небе были ясно видны все признаки готового наступить нового года. Среди пепельно-белых, отяжелевших, вечерних облаков беспрестанно вспыхивал огонь, за вспышкой следовал глухой раскат — это были хлопушки, которыми у нас провожают бога домашнего очага, отправляющегося под новый год с докладом к своему верховному начальнику. По мере приближения к селу блеск пламени становился ярче, гулкие, наполняющие звоном уши, разрывы хлопушек не затихали, и в воздухе уже распространился слабый запах пороха. Как раз в такую ночь я возвращался на свою родину в Лучжэнь. Хотя я и сказал „на свою родину“, однако семьи там у меня уже не было, и я мог только временно остановиться в Лучжэне в домике почтенного господина Лу Четвертого. Он был мне однофамильцем, притом был старше меня на целое поколение, и мне полагалось величать его Четвертым дядюшкой. Это был схоласт, старый ученый императорской школы.

По сравнению с прежним он почти нисколько не изменился, только немного постарел, но еще не отпустил бородки. Едва свидевшись, мы, как обычно, заговорили о погоде, после погоды он заметил, что я „располнел“; сказав, что я „располнел“, он тотчас же принялся громко бранить новую партию. Однако я знал, что, пользуясь этой темой, он вовсе не собирался тем самым бранить и меня, так как дальше конца прошлого столе-

¹ Переводчик считает необходимым разъяснить русскому читателю, что вторичный выход замуж овдовевшей женщины в Китае считается делом почти зазорным, а быстрая смерть второго мужа вызывает всеобщее презрение к такой вдове и даже глумление над ней. Это нужно иметь в виду при чтении рассказа „Моление о счастье“.

тия он не шел и до сих пор все еще бранил памятного его поколению реформатора Кан Ю-вэй'я. Беседа, однако, у нас так и не завязалась, и в непродолжительном времени я остался один в его уставленном книгами кабинете.

На другой день я поднялся очень поздно и после обеда вышел повидаться со своими несколькими однофамильцами и друзьями; третий день я провел таким же образом. Все они не очень изменились, но немного постарели. Повсюду в домах была суета, все готовились к „молению о счастье“. В Лучжэне в конце года это было большим торжеством, там крайне старательно выполняли весь обряд, принимали бога счастья, спрашивали у него всякого благополучия на наступающий год. Резали куриц, били домашних уток, покупали свинину, усердно и тщательно мыли, и хотя руки у женщин становились красными от воды, некоторые из них продолжали носить в эти дни обвитые красным шелком серебряные браслеты и кольца. После того как вся снедь была сварена, в нее как попало втыкали палочки для еды, и это называлось „счастливыми подарками“. В пятую стражу — часа в три, в четыре ночи — все это раскладывалось в порядке, и зажигались курительные свечи; почтительно просили богов счастья притти и насладиться приношением. Молились только мужчины; конечно, по окончании молебствия, как и всегда, пускали хлопушки. Так было каждый год, так было в каждом доме, — нужно было только купить все потребное для счастливых подарков, — так было, конечно, и в этом году. Небо все больше темнело; наконец, после полудня повалил снег. Хлопья снега были величиною с цветок сливы, они порхали, наполняя все небо, и Лучжэнь в этом мгlistом и волнующемся хаосе превращался в одну сплошную муть. Когда я вернулся в кабинет Четвертого дядюшки, на краях черепиц уже белел снег, даже в доме от сияния снега было довольно светло, и почти совсем отчетливо был виден висевший на стене отпечатанный красным большой знак: „Долголетие“, написанный старцем Чэнь Туанем. Один из двух обычно украшающих стены свитков с каллиграфически написанными нравоучительными изречениями или стихами уже упал и кое-как свернутый лежал на длинном столе. Другой еще сохранился, на нем было: „Законы деяний постигнуты все до конца, и сердце и дух да будут спокойны и мирны“. Я в каком-то угнетенном состоянии подошел к столику у окна перелистать

книги, но увидел там лишь лежавший в куче и, вероятно, неполный словарь императора Канси, часть комментария времен последней династии на средневековые „Записи современных мыслей“, собранные в эпоху династии Сун философом Чжу Си, и часть „Помощи при чтении четверокнижия“. Как бы то ни было, я решил, что завтра уеду.

К тому же воспоминание о вчерашней встрече с тетушкой Сян-линь не позволяло мне оставаться спокойным... Это было после полудня. Я, зайдя на восточный конец села посетить одного приятеля, встретил ее у реки. Заметив пристальный взгляд ее глаз, я сразу понял, что она, видимо, направляется ко мне. Я могу только сказать, что из всех людей, которых я в этот раз повидал в Лучжэне, никто не изменился так сильно как она: волосы ее, тронутые сединой пять лет тому назад, теперь были уже совсем белы. Ее лицо было страшно истощено, на его желтую кожу легли черные пятна, оно при этом совершенно уже утратило свое бывшее скорбное выражение и теперь казалось точно вырезанным из дерева; только вращавшиеся иногда зрачки ее глаз еще могли выдать, что она живое существо. В одной руке она держала бамбуковую корзину, там внутри лежала разбитая чашка, наверно, для сбора подаяния. Чашка была пуста. Другой рукой она опиралась на длинную, выше себя, бамбуковую палку, нижний конец палки был в трещинах. Было ясно, что она стала уже совсем нищей.

Я остановился, думая, что она, подойдя, попросит у меня денег.

— Ты вернулся? — спросила она сначала.

— Да.

— Вот это хорошо. Ты ведь грамотный, да и побывал в чужих местах; видел и знаешь много. Я вот и хочу спросить тебя об одном деле. — В ее лишенных блеска зрачках вдруг появился огонек.

Я никак не ожидал, что она скажет что-нибудь такое и стоял в удивлении.

— Так вот, — она подошла ближе на два шага, понизила голос и как-то очень таинственно и настойчиво заговорила: „Когда человек умер, что ж остается после него — душа?“

Я очень испугался; когда же я увидел, что ее глаза впадают в мои — от страха и неловкости у меня сразу возникло неприятное ощущение вонзившихся в спину острых гвоздей, —

я перепугался больше, чем школьник, застигнутый врасплох, когда он не успел подготовиться к вопросу, а учитель уже стоит, наклонившись, рядом с ним. Сам я прежде нисколько не заботился о том, есть ли душа или нет. Но, сейчас, как лучше ей ответить? Я мгновенно колебался, думая: все здешние жители верят в духов, она, однако, усомнилась... Или, пожалуй, говорит о своей надежде. Надеется ли она, что они есть, или надеется, что их нет? И к чему мне еще увеличивать горе человека, находящегося в самом конце своего пути? Не лучше ли будет для нее, если я скажу, что они есть.

— Да, пожалуй есть, я так думаю, — сказал я, запинаясь.

— Тогда, значит, есть и ад?

— Ах, ад! — Я очень смутился, но мог лишь держаться своего.

— Ад? — логически рассуждая, должен быть. Впрочем, не наверное... Кто же знает такие дела...

— Что ж, тогда все умершие люди из одной семьи смогут снова свидеться?

— Ну вот, свидятся или не свидятся! — Я уже понял, что сам оказался совсем дураком и при всех своих колебаниях и расчетах не сумел ответить на эти три вопроса. Я тут же струсил и решил совершенно перетолковать свои прежние слова: — Ну вот... По правде, я не могу тебе этого сказать... На самом деле, есть ли, в конце концов, душа или нет, я и этого не могу сказать.

Я, пользуясь тем, что она больше не настаивала на дальнейших расспросах, сделал шаг в сторону и пошел, но при поспешном моем отступлении назад в дом Четвертого дядюшки я ощущал в душе большое беспокойство. Я сам думал, что в таком моем ответе скрывается, пожалуй, какая-то опасность. Она, вероятно, в это время, когда другие молят о счастье, особенно ощущала свою заброшенность, но может ли быть во всем этом еще и какой-то другой смысл? Или, быть может, тут было какое-нибудь предчувствие? Но если здесь был другой смысл, и из-за этого возникнет другое событие, то за свой ответ, я, в сущности, должен нести некоторую ответственность... Наконец, я рассмеялся, поняв сам, что это случайное происшествие в действительности никакого глубокого значения не имеет. Что же касается моей склонности к такой тщательной переоценке сказанных мною слов, то, пожалуй, не было бы

ничего странного, если бы какой-либо ученый воспитатель сказал, что это у меня расстройство нервов. Тем более, что я ведь ясно ответил: „не могу сказать“ и уже перетолковал ей весь свой прежний ответ, — если что-нибудь и произойдет, это не будет иметь ко мне ни малейшего отношения.

„Не могу сказать“ — фраза весьма употребительная. Неопытная и смелая молодежь часто отваживается разрешать людские сомнения. У избранного нами врача пусть только один раз из тысячи результат окажется неблагоприятным, и это большей частью уже вызывает негодование против него, но стоит лишь ему в заключение произнести „не могу сказать“, как при всех своих действиях он может наслаждаться полным спокойствием и чувствовать себя ничем не связанным. Я теперь ощутил нужность этих слов, — ведь даже в разговоре с нищей женщиной я никак не мог без них обойтись.

Однако я все же чувствовал себя беспокойным. Прошла ночь, а я попрежнему все время принимался вспоминать об этом происшествии, как-будто хранил в себе какое-то недоброе предчувствие. Под сумрачным снежным небом, в безрадостной заставленной книгами комнате это беспокойство все более усиливалось. Не лучше ли отправиться завтра в город? Там в „Башне счастливого начинания“ акульки плавники, вареные на пару без сои, — один доллар за большое блюдо; цена дешевая, а вещь прекрасная. Не знаю только: прибавили теперь цену или и там все, как было? Хотя друзья, прежде отправлявшиеся туда вместе со мною, теперь уже разлетелись, как облака, но акульих плавников нельзя не отведать и даже если я один... Как бы то ни было, я решил, что завтра уеду.

Мне постоянно доводилось наблюдать, что стоит лишь чего-либо захотеть, как все произойдет вопреки ожиданиям. И наоборот, когда рассчитываешь, что дело вовсе не обязательно обернется так, как это можно было заранее предположить, оно каждый раз так именно и случится, как ты сначала думал, и я поэтому очень боялся, что и нынешнее мое маленькое происшествие подпадет под общее правило. И действительно, случилось особенное обстоятельство. К вечеру я услышал, что в задней комнате собрались и разговаривают люди и точно обсуждают какое-то событие. Однако не прошло и минуты, как голоса говоривших смолкли; слышались только шаги Четвертого дядюшки и его громкая речь:

— Не раньше и не позже, нужно же ей было как-раз в это время, — ну, точно какое-то навождение!

Сначала я удивился, а потом сильно встревожился, точно его слова имели какое-то отношение и ко мне. Я заглянул, было, за дверь, но там никого не было. Легко ли мне было дожидаться, пока перед ужином придет их поденщик заварить чай! — лишь с его приходом я получал возможность услышать новости.

— На кого это только что рассердился Четвертый барин? — спросил я.

— На кого же, как не на тетушку Сян-линь, — коротко ответил поденщик.

— На тетушку Сян-линь? А что же она? — спросил я поспешно.

— Да уж стара стала.

— Умерла! — Сердце у меня как-то сразу сжалось; я чуть не вскочил с места, даже кажется, у меня изменился цвет лица.

Однако он все время не поднимал головы и поэтому ничего не заметил. Я несколько успокоил себя и спросил:

— Когда умерла?

— Когда? Вчера ночью, а, может быть, и сегодня. Я не могу сказать.

— Как же она умерла?

— Как умерла? Отчего ж и умерла как не от бедности, — ответил он спокойно и, попрежнему не поднимая головы и не взглянув на меня, вышел. Однако мое тревожное состояние оказалось преходящим; я скоро почувствовал, что событие, которое должно было наступить, теперь уже прошло, да и не наверное оно явилось следствием моего „не могу сказать“, как и его утешительного „умерла от бедности“, и на сердце у меня мало-по-малу стало легче. Только иногда мне все еще казалось, что я как-будто в чем-то виноват. Внесли ужин, и Четвертый дядюшка с достоинством уселся со мной. Я все еще надеялся услышать какие-либо новости о тетушке Сян-линь. Я знал, однако, что хотя он и читал „О природе и способностях двух начал — темных и светлых духов“, но, как и всегда, крайне боится произносить священные и запретные слова, а в такое время — накануне моления о счастье — никак нельзя было заводить речь ни о мертвых, ни о больных. Если уж ничего сделать было нельзя, то в крайнем случае следовало говорить иносказательно, намеками, — к сожалению, я и этого не умел,

и потому, хотя я несколько раз собирался задать ему вопрос, но так все время и останавливался на полуслове. По его исполненному достоинства лицу я вдруг догадался, что и меня-то он считает явившимся „ни раньше ни позже“, и мне захотелось теперь же смутить его, чтобы и это тоже было „точно каким-то навождением“. Я тотчас сообщил ему, что завтра я оставляю Лучжэнь и еду в город и тем сразу успокоил его сердце. Он не очень меня и удерживал. Так печально закончили мы свою еду.

Зимою дни коротки, и небо было снежным, ночь давно уже окутала все наше торговое село. Все люди еще трудятся при свете лампы, но за окном тихо, тихо. Снежинки все падают на лежащий толстым слоем снежный покров, я слышу слабый их шелест, и шелест снежинок дает мне еще сильнее ощутить эту глубокую тишину. Я одиноко сижу у горящей желтым светом масляной лампы и думаю об этой, такой несчастной, тетушке Сян-линь. Выброшенная людьми в кучу пыли, изношенная и обветшавшая игрушка сначала еще являет из пыли свои очертания, и, пожалуй, живые, не утратившие любопытства люди удивляются: зачем еще она существует? Теперь, наконец, демон смерти дочиства вымел весь сор. Я не знаю, есть ли душа или нет, но в нынешнем мире, пожалуй, лучше и для себя и для людей: не жить тому, кто несчастным является в жизнь, и не глядеть на то, что неприятно для нашего взгляда. Я тихо слушал слабый шелест снежинок за окном, думал и постепенно успокаивался.

И вот, разрозненные куски половины ее жизни — и те, что я видел сам, и те, о которых я слышал, — теперь, сцепляясь, слагались в одно. Она была не из Лучжэня. Как-то в начале зимы в доме Четвертого дядюшки нужно было нанять работницу, и бывшая посредницей в таких делах жена Вэй привела ее. На ней был белый головной шнурок, черная юбка, синяя узкая куртка и лунно-белая кофта без рукавов. Лет ей было так двадцать шесть—двадцать семь, цвет ее лица был иссиня-желтый, но на обеих щеках ее еще сохранился румянец. Жена Вэй, называя ее тетушкой Сян-линь, рассказывала, что жила Сян-линь в доме по соседству с матерью самой Вэй, что муж Сян-линь умер, и поэтому она и пришла наниматься на работу. Четвертый дядюшка нахмурил, было, брови, но Четвертая тетушка уже разгадала его мысли — ему не нравилось, что Сян-линь была вдова. Однако Четвертая тетушка видела, что

сложена Сян-линь хорошо, и руки ее крепки, что она стояла, смиренно опустив глаза, и даже не раскрывала рта, — словом, тетушке она показалась человеком очень скромным и работающим, и поэтому, не обращая внимания на нахмуренные брови Четвертого дядюшки, та оставила Сян-линь в доме. Во все время испытательного срока работала Сян-линь целыми днями и даже, кажется, скучала, когда оставалась свободной, к тому же была она сильна и попросту стоила другого мужчины, поэтому на третий же день она была окончательно водворена в доме с платой пятьсот медных монеток в месяц.

Все звали ее тетушкой Сян-линь. О фамилии ее не спрашивали, однако, посредницей ее была Вэй Цзяшань, — та ведь говорила, что с Сян-линь они соседи, и, значит, фамилия ее, повидимому была тоже Вэй. Она не очень любила разговаривать: если другие спросят ее — ответит, да и ответит немногословно. Только дней через десять узнали еще, что дома у нее очень строгая свекровь и младший брат мужа лет десяти с чем-то, который уже умеет рубить дрова. Мужа она потеряла весной, он, в сущности, тоже жил рубкой дров и был младше ее на десять лет. Все знали про нее только это небольшое.

Дни проходили очень быстро; в работе она не ленилась нисколько, к пище была непривередлива и сил не жалела. Люди везде говорили, что в доме барина Лу Четвертого наняли прислугу, которая в работе оказалась попроворнее проворного мужчины. К празднику конца года она мела пыль, мыла полы, резала куриц, била уток, всю ночь стряпала счастливые подарки; все это выдержала она одна, так что в конце концов не пришлось нанимать и поденщика. Однако она была этим даже довольна, на кончиках ее губ постепенно появилась улыбка, и лицо ее побелело и располнело. Когда прошел новый год, она однажды, промыв рис и возвращаясь домой с речного берега, сразу изменилась в лице. Она рассказала, что в это время она издали увидела какого-то мужчину, расхаживающего на другом берегу, он ей показался очень похожим на дядю мужа, и, пожалуй, это и верно, он приехал сюда разыскивать ее. Четвертая тетушка переполошилась, хотела, было, разузнать все подробности до конца, но Сян-линь больше ничего не сказала. Как только Четвертый дядюшка узнал об этом, он сразу, нахмурив брови, заявил:

— Это не хорошо. Боюсь, что она беглая.

Она и вправду была беглая, — в скором времени это предположение подтвердилось.

Дней так через десять, когда все уже мало-по-малу забыли о случившемся происшествии, в дом вдруг явилась жена Вэй с какой-то женщиной лет тридцати с лишним и сказала, что это свекровь тетушки Сян-линь. Хотя эта женщина и была по виду жительницей гор, но держала себя свободно и говорила бойко. После обычных слов о погоде она сразу же, попросив извинения, сообщила, что приехала она нарочно для того, чтобы звать свою невестку домой, что с началом весны дела дома много, а остались там лишь старые да малые, и рук не хватает.

— Если уж ее свекровь хочет, чтобы она вернулась, что тут еще можно сказать? — ответил Четвертый дядюшка.

Тут же отсчитали всю плату за работу Сян-линь, всего тысячу семьсот пятьдесят медных чохов, — она ведь за все время, что жила у хозяина не потратила на себя ни одной монетки, и передали деньги ее свекрови. Эта женщина, кроме того, взяла одежду Сян-линь, поблагодарила и вышла. Время как-раз подошло к полудню.

— Ай-я! А рис-то. Тетушка Сян-линь не ходила мыть рис? — тревожно воскликнула через минуту Четвертая тетушка. Она, кажется, немного проголодалась и вспомнила об обеде.

Тут же все разбрелись на поиски бамбуковой корзинки для промывки риса. Тетушка сначала направилась в кухню, затем в переднюю, наконец, в спальню, но нигде не обнаружила и следа бамбуковой корзинки. Четвертый дядюшка вышел за ворота, но тоже ничего не нашел и только, когда дошли до реки, на берегу увидели лежавшую нетронутой корзинку, рядом с ней валялся пучок овощей.

Люди, видевшие все дело, рассказали, что до полудня на реке встала на якорь лодка с белым парусом. Парус все закрывал, поэтому и не знали, что за люди в ней были, да ведь до самого происшествия никто ею и не интересовался. Только, когда тетушка Сян-линь пришла мыть рис и хотела было опуститься на колени, из лодки вдруг выскочило двое мужчин, оба по виду горные жители, один схватил ее на руки, другой ему помогал, так они и втащили ее в лодку. Тетушка Сян-линь несколько раз всхлипнула, потом уже больше ничего не было слышно, должно быть ей чем-то заткнули рот. Затем подошли две женщины, одна из них была незнакомой, другая — жена

Вэй. Заглянули в каюту, там трудно было что-нибудь хорошо рассмотреть, но кажется Сян-линь лежала связанной на досках лодки.

— Мерзость! Однако... — заметил Четвертый дядюшка.

В этот день Четвертая тетушка сама варила обед, а их сынишка Аню топил печку.

После обеда опять пришла жена Вэй.

— Мерзость! — сказал ей Четвертый дядюшка.

— Что ж ты это думаешь? Уж обязаны тебе, так ты и опять посмела к нам притти! — закричала, моя чашку, Четвертая тетушка, как только увидела ее. — Ты ее сама рекомендовала, да сама же вместе с другими и украла ее; шумом-то, как говорится, небо наполнили — как только на это другие посмотрят? Ты, что же, насмехаешься над нашим домом!

— Ай-я, ай-я! Я, по правде, сама была обманута. Я теперь нарочно за тем и пришла, чтобы все то вам рассказать, все то объяснить. Она просила меня рекомендовать ее на место, где ж мне было догадаться, что она обманула свою свекровь. Простите меня, Четвертый барин, Четвертая барыня. Вот-то я старая одурела, не остереглась, извините, господин. По счастью, ваша милость всегда были великодушны, не захотите считаться с мелкими людьми. Я уж этот раз наверное рекомендую хорошую, чтобы заслужить вину...

— Однако... — сказал Четвертый дядюшка.

Тем самым происшествие с тетушкой Сян-линь было признано оконченным, и в скором времени об нем совсем забыли. Лишь Четвертая тетушка, из-за того, что служанки, которых потом нанимали, большей частью были если не ленивы, то прожорливы, а то и прожорливы и ленивы и никак не могли угодить, — все еще вспоминала тетушку Сян-линь. Каждый раз в подобных случаях она всегда говорила вслух самой себе: „не знаю, как-то теперь она“. Это значило, что Четвертая тетушка надеялась на возвращение Сян-линь. Однако с наступлением первой луны второго года и она перестала надеяться.

Когда первая луна уже была близка к концу, как-то пришла жена Вэй поздравить с новым годом, — она уже успела выпить и была совсем пьяна. О себе она сказала, что съездила на побывку в дом своей матери Вэй Цзяшань и осталась там на несколько дней, поэтому так и опоздала. В разговоре между женщинами речь, конечно, зашла и о тетушке Сян-линь.

— Как она? — весело говорила жена Вэй, — ну теперь-то судьба ее повернулась к лучшему! Еще когда ее свекровь приезжала сюда тащить ее обратно к себе, ее уже пообещали отдать Хо Лао-лю из дома Цзя-ао, поэтому не прошло и нескольких дней по возвращении домой, как ее посадили в цветной свадебный паланкин и унесли.

— Ай-я, вот так свекровь! — в изумлении воскликнула Четвертая тетушка.

— Ай-я, моя барыня, вот уже верно ты сказала, как барыня из большего дома. Мы люди с гор — маленькие люди. — Ну какой тут расчет? А у Сян-линь был младший деверь и тоже взял жену. Не выдали бы ее, откуда бы взять такую кучу денег на свадебные подарки? Ее-то свекровь оказалась женщиной и умной и умелой, у нее тут был большой расчет, поэтому и выдала она Сян-линь в самые-то горы. Если бы ее пообещали кому-нибудь из своей деревни, тогда и подарков было бы немного; да только таких, которые согласны итти замуж в глушь в глубокие горы, — мало, ну свекровь и прибрала к рукам восемьдесят тысяч медных денег. Теперь взяли жену второму сыну, на подарки истратили только пятьдесят, — вычти вот расходы на свадьбу, все останется тысяча десять с лишним. Ха-ха, вот и погляди, хорошо ли она рассчитала!

— Что ж тетушка Сян-линь все же согласилась?

— Тут уж соглашайся, не соглашайся. Шумела, — да тут и всякий бы пошумел, — да нужно только связать веревкой, запереть в красный с золотом паланкин, снести в дом мужа, нахлобучить узорную шапку, поклониться небу и земле да запереть двери в дом — вот и все дело. Но только тетушка Сян-линь, верно, не в пример другим. Слышала я, что в то время и в самом деле шумела она страшно. Все говорили даже, что проработала она в доме человека, читавшего книги, потому и стала не такой как все. Барыня, видели мы многое: человек во второй раз замуж выходит, бывает и поплачет; бывает скажет, что и смерти искать будет; бывает, что принесут в дом мужа — земле и небу поклониться не хочет; бывает даже, что и брачную узорную свечу сломает. Однако у тетушки Сян-линь и тут было не по-обычному: как они говорили — всю-то дорогу она только и делала, что выла и бранилась, а когда принесли ее к дому Хо Цзя-ао, то уж больше и голоса у ней совсем не стало. Как вынули ее из паланкина, так двое мужчин да ее младший

деверь силой ее держали, и то она небу и земле не поклонилась. Они чуть-чуть не остереглись, только вот руки отпустили, ай-я, будда Амитаба, — она тут же головой об угол жертвенника и стукнулась, пробила на голове большую дыру, — яркая кровь так прямо и потекла. Извели на нее две горсти жертвенного пеплу, сверху обернули два куска красного холста, да так и не могли остановить кровь. И когда ее кое-как заперли с мужем в новом доме, она все еще ругалась. Ай-я-я, вот уж верно...

Она покачала головой, опустила глаза и больше ничего не говорила.

— Ну, а как потом? — снова спросила Четвертая тетушка.

— Говорили, что и на второй день, она не вставала, — подняв глаза, ответила жена Вэй.

— Ну, а потом?

— Потом? Потом встала. К концу года она родила ребенка, мальчика, в новый год ему исполнилось два года. Когда я эти несколько дней гостила у матери, один человек ходил к Хо Цзя-ао; вернувшись, он рассказал, что видел их обоих, и мать и ребенка: мать располнела, ребеночек тоже полненький. Опять же — над ней нет свекрови; муж сильный, заработать на жизнь умеет, дом — свой. Ай-ай! Вот уж верно, — судьба ее повернулась к лучшему.

С тех пор Четвертая тетушка больше не вспоминала о Сян-линь. Однако однажды осенью, когда со времени получения новостей о хорошей судьбе тетушки Сян-линь прошло, кажется, еще два новых года, она сама стояла в передней дома Четвертого дядюшки. На столе лежала ее круглая, как водяной каштан, корзинка, внизу у края стола был маленький сверток с постельным бельем. На ней, как и прежде, был белый головной шнурок, черная юбка, синяя узкая куртка и лунного цвета кофта без рукавов. Цвет ее лица был иссиня-желтый, но только на обеих щеках ее уже исчез румянец. Она стояла, опустив взгляд, и на углах ее глаз были видны следы слез и во взоре ее уже не было прежней живости. Ею попрежнему руководила жена Вэй, теперь с жалостливым видом болтливо рассказывающая что-то Четвертой тетушке.

— ... Вот уж в самом деле как говорят: „В небе не смеришь ни ветра, ни тучи“. Ее муж был такой крепкий, и кто б это знал, что он в молодых годах оставит всех в горе, помрет в горячке. Сначала-то он уже, было, поправился, да

съел чашку холодной каши, болезнь и возвратилась. По счастью, остался у нее ребенок, да она и работать умеет: рубить дрова, ощипывать чайный куст, кормить шелковичных червей — она все это умеет. По-настоящему, можно было бы и прожить. Ну, кто б это знал, что и ребенка могут унести волки. Весна прошла быстро, а в деревню пришли волки, — кто бы подумал? Теперь осталась одна, точно голая. Приехал старший дядя и забрал дом, да и ее выгнал. Ей, вот уж верно, не было выхода, укрыться негде, самое лучшее итти просить почтенного старого хозяина. Хорошо, что теперь у нее больше уже нет никаких забот, а в доме у барыни как-раз нужно нанимать человека, — я поэтому ее и привела. Я так думаю, что как говорится: „привычные ворота и привычная дорога“ и в самом деле много лучше, чем какая-нибудь неопытная работница.

— Вот верно глупая я, вот уж верно, — тетушка Сян-линь подняла свои потускневшие глаза и заговорила: — Я-то думала, что только когда выпадает снег, дикому зверю в горной глуши нечего есть и он может притти в деревню; не думала, что и весной может. Встала я раз рано утром, открыла ворота, наполнила маленькую корзиночку бобами да и велела мальчику нашему Амао сесть на доске в воротах, бобы почистить. Уж такой он послушный был у меня, каждое-то мое слово слушал; ну он и вышел. Я наколола за домом дров, рис вымыла и в горшок рис положила; хотела уж бобы варить. Кликнула я Амао — не отвечает, вышла я взглянуть; вижу только по всей земле бобы рассыпаны, — нет нашего маленького Амао. В чужой-то дом он ведь играть не пойдет. Везде я спрашивала — нигде не оказалось. Всполошилась я, попросила людей пойти поискать. Полдня и тут и там искали, в самую горную глушь вошли, — видят на терновнике висит маленькая такая его туфелька. Все тут мне говорят: дело-то плохо, пожалуй, что он встретился с волком. Пошли дальше, а он и верно лежит в траве, в берлоге волчьей, и в животике все-то кишочки уже дочиста выедены, а в ручке он крепко так крепко держит свою маленькую корзиночку... Дальше она уже только всхлипывала, не в силах выговорить больше ни одного слова.

Четвертая тетушка сперва, было, колебалась, но когда она дослушала рассказ самой Сян-линь до конца, глаза ее были слегка красны. Она немного подумала и велела нести круглую корзинку и сверток с постельным бельем в нижнюю

комнату. Жена Вэй глубоко вздохнула, точно освободилась от тяжелого бремени. Настроение самой тетушки Сян-линь стало как-будто лучше, чем сначала, когда она только-что пришла в дом. Не дожидаясь указаний, она сама, как уже знакомая с порядками в доме, стала раскладывать свое постельное белье. С этого времени она вновь стала служанкой в Лучжэне.

Все попрежнему звали ее тетушкой Сян-линь.

Однако на этого раз ее положение в доме изменилось необычайно сильно. Через два или три дня после поступления Сян-линь на работу, хозяева заметили, что в руках ее уже нет прежней живости, память ее также совсем ослабла, на ее безжизненном помертвелом лице за целый день не появлялось и тени улыбки, — во вздохах Четвертой тетушки чувствовалось некоторое недовольство Сян-линь. В первое время после ее прихода Четвертый дядюшка, хотя как всегда и хмурил, бывало, брови, но, помня прежние затруднения с наймом служанок, все же не очень возражал против ее появления и только тайком предупредил Четвертую тетушку, что хотя такие люди как-будто и весьма достойны сожаления, однако они портят нравы: пользоваться ею для помощи в работе, пожалуй, и можно, но во время жертвоприношения позволять ей загрязненными руками касаться священных предметов уже нельзя; все кушанья лучше приготовить самой, иначе они будут нечистыми, и предки есть их не станут.

В доме Четвертого дядюшки самым важным событием считалось жертвоприношение, для тетушки Сян-линь самым хлопотливым временем тоже было время жертвоприношений, но в этот раз она была совсем свободна. В середине комнаты поставили стол, спереди его завесили узорным покрывом, и Сян-линь, вспомнив старое, пошла, было, разложить винные чарки и палочки для еды.

— Тетушка Сян-линь, оставь. Я сама возьму, — испуганно сказала Четвертая тетушка.

Сян-линь, боязливо отвела руки и снова направилась, было, за подставкой для свечей.

— Тетушка Сян-линь, оставь. Я сама принесу, — опять испугалась Четвертая тетушка.

Сян-линь повернулась несколько раз кругом, но дела для нее так и не было, она могла только нерешительно расхаживать по комнате. В этот день ей оставалось лишь сидеть у очага и поддерживать огонь, — не более.

Обитатели села, как и прежде, звали ее тетушкой Сян-линь, однако самый тон этого слова был не тот, что раньше; они даже разговаривали с ней, но с'насмешливо-холодным и безучастным видом. Она совсем не умела этого понять и только, устремив в лицо другому свои глаза, рассказывала всем старую свою историю, которую она сама ни днем ни ночью забыть не могла.

— Вот верно глупая я, вот уж верно, — говорила она, — я-то думала, что только когда выпадет снег, дикому зверю в глубоких горах нечего есть, и он может притти в деревню; не думала, что и весной может. Встала я раз утром пораньше, открыла ворота, наполнила маленькую такую корзиночку бобами да и велела мальчику нашему Амао сесть на доске в воротах бобы почистить. Уж такой он послушный был у меня ребенок, каждое-то мое слово слушал; ну он и вышел. Я наколола за домом дров, рис вымыла и в горшок рис положила, думала бобы варить. Кликнула я: „Амао!“ — не отвечает. Вышла взглянуть, вижу только по всей земле бобы рассыпаны, — нет нашего маленького Амао. Везде-то я спрашивала — нигде нет. Всполошилась я, попросила людей пойти поискать. Полдня несколько человек искало его в горной глуши, — видят на терновнике висит маленькая его туфелька. Все тут мне говорят: дело-то конченное, пожалуй, что он встретился с волком. Пошли дальше, и верно: лежит он в траве, в берлоге волчьей и в животике все-то кишочки дочи́ста выедены; да жалостно так в ручке-то он крепко, так крепко держит свою маленькую корзиночку. — Тут из глаз ее начинали капать слезы, и в голосе слышались всхлипыванья.

Эта ее история имела все же некоторый успех. Мужчины, дослушав рассказ до этого места, обычно теряли свой насмешливый вид и равнодушно уходили; женщины не только как-будто смягчались, — с их лиц сразу исчезало презрительное выражение и даже иные из них проливали сочувственные слезы. Некоторые старухи, не слышавшие Сян-линь на улице, нарочно разыскивали ее, чтобы послушать эту печальную историю. Когда речь ее переходила в всхлипывания, они тоже вместе с нею роняли застывшие в углах глаз слезинки, грустно вздыхали и уходили удовлетворенные, все еще подробно обсуждая это событие.

Она то-и-дело рассказывала людям свою печальную историю, постоянно останавливая около себя трех-четырех

слушателей. Однако в скором времени все уже хорошо знали ее рассказ, и тогда даже у самых жалостливых, поминающих имя Будды, старых барынь в глазах больше не показывалось и следа самой маленькой слезинки. Затем уже почти все жители села могли бы повторить ее рассказ наизусть, как ученики, оборотясь спиной к книге, отвечают урок, и лишь заслышав ее речь, они уже испытывали раздражение словно от головной боли.

— Вот верно глупая я, вот уж верно, — начинала она свое повествование.

— И правда, — ты ведь только думала, что когда выпадет снег, дикому зверю в глубоких горах нечего есть, и он может притти в деревню, — тотчас прерывали они ее речь и уходили.

Она испуганно застывала на месте с раскрытым ртом, смотрела прямо на них, а потом и сама шла дальше, как-будто и она чувствовала, что рассказ ее неинтересен. Однако она еще хранила ложные надежды, рассчитывая пользоваться всяким, не относящимся прямо к ней случаем — маленькой корзиночкой, бобами, чужим ребенком, чтобы напоминать историю своего маленького Амао и, лишь завидя ребенка двух-трех лет, она тут же замечала: „Ай-ай, если б мой-то Амао был жив, тоже был бы таким вот большим. . .“ Ребенок, заметив взгляд Сян-линь, пугался и, теребя пазуху матери, понуждал ту скорей уходить. Тогда Сян-линь вновь оставалась одна и в конце концов тоже безучастно шла дальше. Потом опять все узнали эту ее манеру, и стоило только перед ее глазами появиться ребенку, как кто-нибудь, не то смеясь, не то серьезно, первым спрашивал ее:

— Тетушка Сян-линь, если б твой-то Амао был жив, не был бы он тоже таким вот большим?

Она не знала наверно, что ее горе вот уже много дней, как обсосано, разжевано и оценено всеми, что оно давно уже превратилось в мутную жвачку, достойную вызвать лишь досадливый плевок, однако по улыбкам людей она как-будто ощущала всю холодную колкость вопроса, и сама больше не считала нужным открывать рот. Она лишь окидывала их взглядом и не отвечала ни слова.

В Лучжэне при встрече нового года уже с двадцатого дня „месяца зимнего жертвоприношения“ всегда начиналась суэта. В доме Четвертого дядюшки на этот раз нужно было нанять поденщика, и все же справиться со всеми хлопотами не могли,

пришлось приглашать на помощь и матушку Лю. Резали куриц, били уток; однако матушка Лю была женщиной добродетельной, ела постную растительную пищу, никогда не убивала ничего живого и соглашалась только мыть посуду. У тетушки Сян-линь, кроме как поддерживать огонь в очаге, дела не было, она была совсем свободна и лишь посматривала сидя, как тетушка Лю моет посуду. Падал редкий и мелкий снег.

— Ай-ай, вот верно глупая я, — посмотрев на небо, вздохнула тетушка Сян-линь, словно разговаривая сама с собой.

— Тетушка Сян-линь, ты опять пришла? — Нетерпеливо взглянув на ее лицо, сказала матушка Лю. — Я тебя спрашиваю — шрам у тебя на виске ты не тогда подбила?

— Угу, — не раскрывая рта ответила Сян-линь.

— Я тебя спрашиваю: — ты что же, все-таки под конец согласилась?

— Я то?

— Да, ты. Я думаю, что ты и сама этого хотела. Не будь так...

— Ай-ай, ты и не знаешь, какая сила у него была громадная.

— Я не верю. Не поверю я, чтобы ты с такой своей силой, не сумела бы его оттащить. Ты потом, конечно, сама согласилась, ну а теперь говоришь, что у него сила велика.

— Ай-ай, ты... Ты бы сама попробовала, — рассмеялась Сян-линь.

Покрытое глубокими бороздами лицо матушки Лю тоже смеялось, оно все сморщилось, как грецкий орех; ее старческие маленькие глазки, оглядев висок тетушки Сян-линь, снова так и вонзились той в глаза. Тетушка Сян-линь точно вся сжалась, улыбка тотчас исчезла с ее лица и, отвернув взгляд, она стала смотреть на падающий снег.

— Тетушка Сян-линь, ты и в самом деле не рассчитала? говорила матушка Лю лукаво. — Ты попросту стукнулась бы еще разок посильней, тут тебе и смерть, и все было бы ладно. А теперь, ты не прожила со своим вторым мужем и двух лет, — для вторично вышедшей замуж это ведь грех великий. Ты подумай, вот пойдешь ты в приказ в обители мрака, а оба эти мужа в виде мертвых бесов будут еще друг с другом препираться за тебя: кому тебя лучше отдать? Янь-ло, великому князю ада, самое лучшее останется только распилить тебя попо-

лам, да и разделить между ними. Я думаю, это и верно так будет.

На лице у Сян-линь появилось испуганное выражение, — этого в горной деревушке никогда не знали.

— Я думаю, тебе бы лучше, как говорится, заранее внести залог. Поди-ка ты в храм нашего местного бога и откупи там доску от ворот, и пусть сочтут ее там за твое тело и кинут ее, чтобы тысяча людей ее потоптала, чтобы десять тысяч по ней прошло. Искупишь ты грех этой жизни и избавишься от мук после смерти.

Она тогда ничего не ответила, но, вероятно, опечалилась очень сильно; когда она встала утром на второй день, вокруг обоих глаз ее залегли большие черные круги. После завтрака она направилась в западную часть села, в храм местного бога с просьбою ссудить ее доской от ворот. Храмовой служка сначала упорно отказывал, пока она в возбуждении не залилась слезами, тогда он вынужден был согласиться. Цена была двенадцать тысяч медных чохов крупными деньгами.

Она уже долгое время не разговаривала с людьми, так как история ее Амао была давно всеми с досадой отвергнута. Однако с самого дня ее беседы с матушкой Лю, она, кажется, стала передавать об этом всюду, у довольно многих возник к ней новый интерес и опять стали приходить люди постоять и поговорить с ней. Что касается темы, то она, конечно, также сменилась новой — теперь говорили о шраме на ее виске.

— Тетушка Сян-линь, я тебя спрашиваю: как же ты тогда все-таки согласилась? — заговаривал один.

— Ай, как жаль, зря ты тогда стукнулась, — глядя на ее шрам, отвечал другой.

Сян-линь, вероятно, по их веселому виду и насмешливому голосу, догадывался, что они издеваются над ней, только пристально глядела на них и не отвечала ни слова, потом она даже не поворачивала головы. Целыми днями губы ее были плотно сомкнуты, ведь на голове ее был шрам, признанный всеми знаком позора, она молча пробегала по улице, мела пол, чистила овощи и промывала рис. Едва исполнился год, как она уже получила из рук барыни скопившуюся за отработанное время плату, наменяла двенадцать мексиканских долларов и попросила отпустить ее в западный конец села. Однако не настало еще время обеда, а Сян-линь уже вернулась очень радостная

и довольная и, ликуя, сообщила Четвертой тетушке, что она сама лично выкупила в храме местного бога доску от ворот.

В праздник жертвоприношения предкам при наступлении зимы она могла уже выказать на работе всю свою силу и, видя, что Четвертая барыня приводит в порядок все нужное для жертвоприношения и вместе со своим Аню тащит стол на середину комнаты, она опять по своему простодушию пошла за винными чарками и палочками для еды.

— Оставь, тетушка Сян-линь, — громко крикнула испуганная Четвертая тетушка.

Сян-линь отдернула руки как-будто от ожога, лицо ее сразу изменилось и стало пепельно-черным, она уже не пошла за подставкой для свечей — она стояла в полной растерянности и только. Сян-линь сдвинулась с места и ушла лишь тогда, когда Четвертый дядюшка стал кадить ароматы предкам и приказал ей уйти. В этот раз в ней произошла перемена особенно значительная, не только ввалились ее глаза на другой день, но и душевные силы ее, видимо, ослабли. При этом она стала очень робка: она боялась не только ночного мрака, боялась черной тени, и, даже завидя человека, хотя бы своего собственного хозяина, она тоже пугалась как мышка, выбежавшая ясным днем из своей норы; или еще она часто сидела теперь совершенно бессмысленно, как деревянный идол. Не прошло и полгода, как волосы ее стали седеть, память ее совсем ослабла, дошло до того, что она часто забывала вымыть рис.

— Что это тетушка Сян-линь стала такой? Лучше тогда и совсем не держать ее, — говорила ей в лицо Четвертая тетушка, точно предупреждая ее.

Однако она и осталась такой: казалось, больше уже не было надежды на то, что она поумнеет. Тогда они стали подумывать, как бы спровадить ее из дома, приказав ей идти обратно к жене Вэй, но пока я еще жил в Лучжэне, это намерение не шло дальше одних слов; по тому, как я встретил ее теперь, было ясно, что они исполнили свое намерение. Однако стала ли она нищей сразу, как ушла из дому Четвертого дядюшки или сначала отправилась в дом жены Вэй и потом стала нищей, — этого я так и не узнал.

Я очнулся от гулко разрыва хлопушки рядом со мной, взглянул на желтый, величиною с боб, огонек лампы и снова

услышал хлопающие звуки разрывов „бам-бам-бух“, — это в доме Четвертого дядюшки молили о счастье; время пятой стражи было уже близко. Во мраке до меня опять и опять доносились далекие непрерывные раскаты, и казалось, что объявшая небо, рокочущая туча, сыплющая кружащиеся в летящей пляске снежинки, покрыла все село. Мне под этим переполненным звуками покровом стало как-то легче и лучше, докучавшие мне весь день до самого вечера сомнения и думы были сметены прочь этим торжеством моления о счастье, я чувствовал только, что сонмы совершенномудрых неба и земли насладились принесенными им жертвами, чистым вином и душистыми курениями, и теперь все они, пьяным-пьяны, бредут, пошатываясь в воздухе, готовясь наделить обитателей Лучжэня беспредельным счастьем.

БЕЛЫЙ БЛЕСК

Чэнь Ши-чэн просматривал списки успешно выдержавших уездные экзамены; когда он вернулся домой, время было уже после полудня. Он ушел, в сущности, очень рано; взглянув на список, он прежде всего отыскал в нем фамилию Чэнь. Знаков „Чэнь“ в списке было не мало, казалось они бежали перед его глазами, оспаривая первенство и боясь оказаться в конце, однако последующие два знака нигде не были знаками его имени — Ши-чэн. Он тогда принялся снова и снова старательно изучать висевшие кругом двенадцать листов списка; другие просматривавшие список все уже разошлись, но Чэнь Ши-чэна в списке так и не оказывалось, он один стоял перед стеной у входа в экзаменационную палату.

Хотя холодный ветерок слегка шевелил его седеющие волосы, еще совсем теплое солнце начала зимы согревало его. Однако точно от солнечного удара лицо это становилось все более пепельно-белым, и в его покрасневших опухших от утомления глазах показался странный блеск. Он давно уже не различал, что было в списке на стене и видел только множество черных, как птицы, кружков, плывших перед глазами. Вот он отличился, получив ученую степень „расцветающего таланта“, он едет в провинцию и держит экзамен там, он сразу одерживает вторую победу... Местные богатеи и знать всеми мерами стараются породниться с ним, другие люди тоже чтут его, взирая на него как на некое божество, они глубоко раскаиваются в своем прежнем презрении к нему, — кружится голова... Он выгнал разный люд, снимающий задние комнаты за внутренней дверью его разрушенного дома — не стоит и говорить, что выгнал; сам он переехал — дом его весь обновлен, на воротах шест с флагом и дощечка с надписью... Надо иметь честный и возвышенный образ мыслей, и можно стать

чиновником в столице, а если не так, то не лучше ли подумать и об обстановке... Вся эта так хорошо устроенная, намечаемая им обычно карьера теперь, как подмытая прибоем башня из сахара, рухнула в одно мгновение, оставив после себя только грудку обломков. Он бессознательно повернул свое утерявшее чувствительность тело и в раздумье побрел по дороге к дому.

Когда он подходил к воротам дома, было слышно, как семь его учеников разом кричали во все горло, — это они принялись нараспев читать свои книги. От неожиданности он сильно испугался, точно над ухом у него ударили в гудящий музыкальный камень; он увидел лишь, как семь их голов с вытянутыми косичками мелькнуло перед его глазами; их мелькание заполняло всю комнату, опять заплясали черные точки. Он сел, — они пришли отвечать ему вечерний урок. По их лицам было заметно, что они украдкой наблюдают за ним.

— Ступайте домой! — сказал он печально, после минутного колебания.

Мальчики кое-как завернули свои книги и со связками в руках разбежались и исчезли как дым.

Чэнь Ши-чэн все еще видел, как множество маленьких головок, путаясь с черными кружками, плясало перед его глазами: иногда они смешивались в хаосе, иногда они складывались в причудливые линии и фигуры, но вот они, постепенно уменьшаясь, стали неразличимы.

— „Вот, кончилось и на этот раз“.

Он очень испугался, даже привскочил, — слова раздались отчетливо над самым его ухом. Он повернул голову, но никого не было, он точно опять услышал глухой удар по звучащему камню, и его собственные губы повторили:

— Вот, кончилось и на этот раз.

Он вдруг поднял руку и, загибая пальцы, принялся вычислять: одиннадцатый, тринадцатый раз, а с этим годом всего шестнадцать раз, — и все же так и не нашлось экзаминатора, понимавшего толк в литературном произведении. Все они, как говорят, „с глазами без зрачков“, а вот это и жаль, и он без всякого повода непроизвольно рассмеялся — „хи хи!“ Однако, он был раздосадован и, вдруг вытащив из-под холщевой обертки книги начисто переписанный комментарий на заданный клас-

сический текст и свой экзаменационный билет, направился с ними на улицу, но, подойдя к дверям дома, он увидел, что свет так и бьет ему в глаза и что даже куры — и те смеются над ним, и тогда, не в силах сдержать бешеный бег своего громко стучавшего сердца, он счел за лучшее вернуться в дом.

Он сел опять, его глаза блестели не так как всегда. Он видел многие предметы в комнате, но как-то совсем неясно: его карьера, как рухнувшая сахарная башня, лежала перед ним, но эта карьера все ширилась и ширилась и преграждала ему все пути.

Дым от очагов в других домах давно уже рассеялся и исчез, чашки и палочки для еды тоже давно были вымыты, а Чэнь Ши-чэн все не шел приготовить себе пищу. Живший здесь разный люд по старым примерам знал, что когда в году произойдут уездные экзамены и у Чэнь Ши-чэна после просмотра списков выдержавших испытания будут такие глаза, — лучше всего пораньше закрывать двери и не возиться слишком много с делами. Сначала стихли голоса людей, затем один за другим гасли огни лампы, и только блеск луны медленно разливался по всему холодному ночному небу.

Небо было зелено-синим, как море, и редкие плывущие по небу облака слегка колыхались, как капли мела, расходящиеся в воде чаши для промывки кистей. Луна струила на Чэнь Ши-чэна волны холодного блеска, сначала она походила на только что натертый стальной щит зеркала, но вот неверное и тайное сияние этого зеркала пронизало своими лучами всего Чэнь Ши-чэна, и на его теле теперь светилось отражение металлического блеска луны.

Он все ходил взад и вперед по дворику перед домом, в глазах у него понемногу прояснялось, повсюду кругом была глубокая тишина. Но эта тишина вдруг была снова неожиданно нарушена, он снова отчетливо услышал у себя над ухом торопливый шопот:

— Нагнись налево, нагнись направо...

Когда он в возбуждении наклонил ухо и прислушался, тот же голос снова но уже громче повторил:

— Нагнись направо.

Он вспомнил. Этот дворик! Когда его дом не был еще в таком запустении и упадке, с наступлением летних ночей он со своей бабушкой проводил каждую ночь в этом наполненном

прохладой дворике. Тогда он был еще ребенком лет десяти, он ложился на бамбуковую кровать, и его бабушка усаживалась рядом с ним и рассказывала ему удивительные истории. По ее словам, уже ее бабушка передавала ей, что предок семьи Чэнь имел огромные богатства, а там, где теперь дом, была его родовая земля, и предок зарыл в ней несметные слитки серебра. Какой-нибудь владеющий счастливой судьбой потомок непременно разыщет их, но до сих пор они все еще не найдены, а место клада скрыто в загадке: „Нагнись налево, нагнись направо; иди вперед, иди назад — и серебро и золото без меры там лежат“.

Чэнь Ши-чэн, в сущности, даже в обычное время и то очень часто тайно от других пытался разгадать эту загадку, но, к сожалению, всегда, когда он уже считал себя почти проникшим в ее тайну, он тотчас же и чувствовал, что его разгадка не подходит. Один раз он в самом деле обладал ключом к ней и знал, что клад находится под полом дома, отданного в наймы семье Тан, однако в нем так и не нашлось мужества войти к ним и начать откапывать, но вот прошло некоторое время, и он опять почувствовал, что это место для клада совсем неподходящее. Что же касается старых следов от ям, накопанных в доме, занимаемом им самим, то он все их вырыл, будучи взволнованным после нескольких своих прежних провалов на экзаменах, — потом он и сам, глядя на эти следы, испытывал смущение и стыд.

Но сегодня металлический блеск облекал Чэнь Ши-чэн'а и опять мягко и вкрадчиво побуждал его и, если Чэнь Ши-чэн все же еще медлил в нерешительности, то этот свет теперь давал верное свидетельство, все увеличивая силу своего тайного внушения. Чэнь Ши-чэн уже не мог не перевести взора вновь на внутренность своего дома.

Белый блеск, как белый круглый веер, колыхаясь и раскачиваясь, мерцал внутри его дома.

— Это все же здесь! — сказал Чэнь Ши-чэн и с быстротой льва устремился в дом, но когда он проскочил внутрь, белый блеск бесследно исчез, оставался только старый наполненный синей мглой дом, где несколько поломанных столиков для книг тонуло во мраке. Он стоял, приходя в сознание. Мало-помалу он снова стал пристально вглядываться, — но вот белый блеск появился опять совсем отчетливо; теперь он даже стал

шире, он был ярче и прозрачнее серного огня, он был белее и тоньше утренней дымки, он при этом был как раз под книжным столиком, прислоненным к восточной стене. Чэнь Ши-чэн как лев бросился за дверь; вытянув руки, он нащупал мотыку и ударил по черной тени. Неизвестно почему он испугался, растерянно зажег лампу, — мотыка лежала на месте. Он отодвинул столик и одним духом отбил мотыкой четыре больших квадратных кирпича. Присел на корточки и посмотрел, — под ними попрежнему был желтый чистый песок; засучил рукава и разгреб песок руками, внизу обнажилась черная земля, Чэнь Ши-чэн очень осторожно, притаившись, удар за ударом разрывал землю мотыкой, но глубокая ночь была все же слишком тиха, и удары острого железа о землю производили глухой тяжелый шум, — его нельзя было скрыть от людей. Яма в земле достигла уже глубины в два с лишним „чи“, но все еще не было видно горлышек сосудов с кладом. Чэнь Ши-чэн досадовал, он резко вскрикнул, — руки его болели от движений. Острые мотыки стукнулось о какой-то твердый предмет. Чэнь Ши-чэн поспешно бросил кирку, но, когда он ощупал предмет, — оказалось, что внизу лежал большой кирпич. Сердце его сильно забилося, он, собравшись с духом, вытащил кирпич, — внизу было полно такой же, как и прежде, черной земли. Он отгреб руками большую кучу разрыхленной земли, но казалось, что внизу ей не будет конца.

Однако, он вдруг снова наткнулся на маленький твердый предмет, совсем круглый, — вероятно, это была покрытая ржавчиной медная монета; кроме того, там было несколько черепков фарфора.

Чэнь Ши-чэн чувствовал, что сердце его стало точно пустым, по всему его телу струился пот, он только поспешно разрывал землю руками.

Но вот сердце его дрогнуло в пустоте, — он опять наткнулся на какой-то странный маленький предмет, по очертаниям это напоминало подкову, но под рукой казалось слишком рыхлым.

Он снова, собравшись с духом, вытащил предмет, осторожно взяв его пальцами, тщательно осмотрел при свете лампы, — это, повидимому, была полусгнившая челюсть, покрытая пятнами и трещинами, наверху еще частью сохранился ряд разрушенных зубов. Он понял, что то, верно, было нижней

челюстью; но вот она, дрожа, зашевелилась в его руке, при этом явно улыбалась, скаля зубы, и наконец он расслышал, как она произнесла:

— Вот, кончилось и на этот раз.

Он весь похолодел от ужаса и разжал руку — челюсть легко упала обратно на дно ямы. Он выбежал во дворик. Он украдкой заглянул внутрь дома... там попрежнему блестел огонь лампы, попрежнему усмехалась нижняя челюсть; необычайно напуганный, он не смел больше туда взглянуть. Притаившись в тени под крылом крыши дальнего дома, он почувствовал некоторое успокоение, но лишь только он успокоился, он внезапно опять услышал под ухом тихий шопот:

— Здесь нет... иди в горы!

Чэнь Ши-чэн как-будто припомнил, что даже днем на улице некоторые люди говорили то же самое, и он, не ожидая повторения услышанных слов, уже в нерешительности колебался. Он вдруг поднял взор к небу: луна уже заходила, клонясь в сторону западного пика. Далекий, отстоящий на тридцать пять ли от города западный пик был у него перед глазами; как скипетр чиновника на представлении государю он прямо и стремительно вздымался, чернея, и вокруг него бросал широкий отсвет белый блеск.

— Да, итти в горы!

Он решился и с отчаянием побежал.

Несколько раз скрипнули отпираемые ворота, и внутри за воротами вновь не слышно ни звука, ни дыхания.

Огонь лампы распустился пышным цветком, озаряя пустую комнату и разрытую яму, потрещал, потрещал немного, опять постепенно сжался и погас совсем — это выгорели остатки масла.

— Откройте городские ворота!.. — прокричал рано на рассвете перед западными воротами голос, трепеща и обрываясь, как осенняя летучая нить паутины, жалобный, таящий великую надежду и ужас.

В середине второго дня люди заметили труп, плавающий в озере Вань лю, в пятнадцати ли от западных ворот. Весть эта тогда же распространилась, дошла в конце концов и до ушей местного полицейского старшины, который и приказал крестьянам из ближней деревни вытащить труп из воды. Это был мужчина лет пятидесяти с лишним „роста среднего, лицом

белый, без бороды“, на теле не было никакой одежды. Некоторые говорили, что это Чэнь Ши-чэн. Соседи, однако, поленились пойти и взглянуть; при этом и родственников для опознания трупа тоже не нашлось, и тогда, после следствия, произведенного уездным комиссаром, тот же полицейский старшина распорядился унести и зарыть тело. Что касается причины смерти, то она, конечно, вопроса не возбуждала, — ограбление одежды покойника было, в сущности делом обычным, и этого факта было недостаточно, чтобы заподозрить здесь злой умысел, притом и следователь тоже засвидетельствовал, что покойный бросился в воду еще живым и, так как он, несомненно уже на дне озера боролся с судьбой, то все под ногтями его пальцев было забито грязью со дна.

ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК

Фан Сюань-чо в последнее время любил говорить: „Разница невелика“. Это выражение совсем, кажется, сделалось у него чем-то вроде пустой присказки, и он не только так говорил, но это словечко и в самом деле завладело его мозгом.

Прежде он всегда говорил „все равно“, но потом, вероятно, почувствовал, что „все равно“ — слова недостаточно положительные, и сменил их на „разница невелика“ и уж пользуется только этим выражением.

Хотя с тех пор, как он открыл эту замечательную общую фразу, она вызвала у него немало грустных размышлений, но, одновременно, он с ее помощью во многих случаях получал и новый повод к успокоению. Например, видя как старики держат в страхе молодежь, он раньше обычно огорчался, теперь же он изменил образ мыслей: ведь в будущем, когда у этой молодежи появятся дети и внуки, она, вероятно, тоже будет проявлять свое достоинство таким же точно образом, — значит, тут нет никакой несправедливости. Или, например, видя как солдат бьет рикшу, он раньше также огорчался; теперь же он и на это изменил образ мыслей: ведь если бы этот рикша стал солдатом, а этот солдат тащил бы коляску, то, вероятно, он был бы избит точно таким же образом. Значит, тоже не стоит об этом и думать. Но и у него, когда он так размышлял, временами бывали сомнения: не создал ли он эту лазейку для самообмана из-за того лишь, что сам он не имеет мужества вести решительную борьбу с нашим испорченным обществом, что ведь это очень близко и к полному равнодушию и к добру и к злу и что, пожалуй, было бы гораздо лучше эти свои взгляды изменить. Однако эти взгляды, напротив, все более и более укреплялись в его мозгу.

В первый раз он публично объявил о такой своей теории „Разница невелика“ в аудитории Пекинской педагогической школы. В это время он, кажется, говорил об исторических фактах и тогда же сказал, что „люди древности и современные люди друг от друга не далеки“, сказал, что люди всех мастей „по натуре близки друг к другу“ и в конце концов, впутывая сюда же учащихся и чиновников и развивая свое суждение, он пояснял: „Теперь в обществе всюду модно ругать чиновников, и особенно сильно ругают их студенты. Однако, чиновники при этом не являются ведь каким-то особым данным нам природой племенем, ведь все они вышли из простого народа. А ныне так немало чиновников и из числа бывших студентов, но разве они представляют какой-то другой тип, чем старые чиновники? Говорят: «с какого места ни зайди, все остается попрежнему». И в их идеалах, суждениях, в их действиях и в их утонченном изнеженном виде, во всем этом между ними никакой существенной разницы нет... Кстати, в очень многих делах, совершенных в последнее время студенческими организациями, разве так уж и обходилось без злоупотреблений? И разве большей частью эти злоупотребления, как говорится, не рассеялись, как дым, и не потухли, как огонь, а дела не были улажены? Разница невелика! Но именно это и тревожит нас в будущем Китая“.

Из двадцати с лишним слушателей, сидевших там и тут в аудитории, одни были недовольны, другие же нашли, что он сказал верно; некоторые были захвачены врасплох и, кажется, сочли, что он поносит интеллигентную молодежь, а несколько человек тонко улыбнулись, — они, вероятно, подумали, что это он оправдывает самого себя, так как Фан Сюань-чо совмещал с учебными занятиями и должность чиновника.

На самом деле все они ошиблись. Это было у него лишь новым родом беспокойства. Хотя мы и сказали „беспокойства“, но вместе с тем это было у него не более, чем пустое рассуждение, выражавшее и удовлетворение своей судьбой. Хотя он и сам не знал, что это было следствием его лени, да еще его никчемности, но все же чувствовал, что он человек несклонный к действиям, вполне довольный своей участью и заботящийся только о том, как бы оберечь себя. Когда директор департамента вслух жаловался на нервное расстройство Фан Сюань-чо, важно было лишь, чтобы место Фан Сюань-чо как-

нибуть от этого не поколебалось, и Фан Сюань-чо не решался открыть рта; когда плату учителям задолжали больше, чем за полгода, важно было лишь иметь где-нибудь на стороне поддержку в виде жалованья чиновника, и он опять так и не решался открыть рта. Он не только не открывал рта, но даже когда учителя совместно потребовали жалованья, он втайне считал, что надо бы еще подумать, что уж очень кричат, и лишь когда он услышал, как его сослуживцы в департаменте безмерно издевались над учителями, он несколько опечалился. Однако потом он переменял мнение, — это ведь, пожалуй, оттого, что и самим-то чиновникам не хватает денег, а другие чиновники ведь не учительствуют как он, — и сразу успокоился.

Хотя он тоже нуждался в деньгах, но так и не вступал в учительскую организацию. Однако, когда все решили объявить забастовку, он все же не пошел на занятия. Правительство заявило: „Пойдете на занятия — выдадим деньги“, и он несколько рассердился на то, что оно точно дразнило обезьяну плодом. Кстати, какой-то великий педагог сказал: „Когда в одной руке у учителя связка с книгами, а другой он требует денег — это неблагородно“, и Фан Сюань-чо тогда же формально выразил недовольство этим изречением своей жене.

— Эй, что это у нас только два блюда? — сказал он, глядя на овощи, за ужином в тот самый день, когда он услышал, что „это неблагородно“.

Они оба не получили современного воспитания, а жена его не имела даже обычно даваемого девочкам в школе имени или какого-нибудь красивого прозвища, поэтому ее нельзя было никак называть (тем более, что называть ее просто по счету в ее девичьей семье, как это бывает у простонародья, он считал неприличным). По старому обычаю ее можно было бы звать „сударыней“, но он к тому же не хотел слишком уж придерживаться старины, и тогда он выдумал это одно „Эй“. У жены в свою очередь для него не было даже этого „Эй“, и, только когда она начинала говорить, обратившись к нему лицом, по образовавшейся у них привычке он знал, что эти ее слова относятся к нему.

— Но те пятнадцать процентов, что ты получил в прошлом месяце, все вышли... И вчерашний-то рис легко ли было покупать в долг, — сказала она, стоя у стола и обратившись к нему лицом.

— А смотри, еще говорят, что когда учитель требует платы, так это низко. Ведь, кажется, такие дубины и того, что человеку нужно есть кашу, что для каши нужен рис, чтобы ее приготовить, а для риса нужны деньги, чтобы его купить, даже и этого пустяка не понимают...

— Верно! Без денег как ты купишь рис, а без риса как ты ее сваришь?..

Обе щеки его надулись, точно он рассердился, что такой ее ответ совпадает с его рассуждением на тему „Разница невелика“ и что она почти вторит ему в голос; он тогда отвернул голову и этим, по установившейся у них привычке, дал ей понять, что беседа окончена.

Лишь после того дня с пронизывающим ветром и холодным дождем, когда учителя направились к правительству требовать задержанное жалованье и в липкой грязи перед воротами Синь-хуа правительственные войска разбили им головы в кровь, лишь после этого им все же выдали частицу их платы. Фан Сюань-чо получил деньги, как говорится, не потрудившись даже двинуть рукой, и рассчитывал, было, заплатить некоторые долги, но и для этого ему не хватило довольно крупной суммы, — дело в том, что жалованье чиновникам тоже несколько задержали. Тогда даже честные и незапятнанные чиновники и они мало-по-малу стали думать, что жалованья нельзя не требовать, а тем более совмещающий с казенной службой занятия учителя Фан Сюань-чо; он, конечно, стал выражать свое особое сочувствие взволновавшимся ученым кругам. Поэтому, когда все учителя решили продолжать забастовку, то, хотя он по-прежнему не присутствовал на их собрании, но, когда дело было кончено, он с особенной готовностью и радостью самым точным образом выполнял общее решение.

В конце концов, правительство все же снова выплатило жалованье, и в школах начались занятия. Однако за несколько дней перед этим студенческий союз подал правительству петицию о том, что „если учителя не приступят к занятиям, то не следует и выплачивать им задержанное жалованье“. Хотя петиция и не имела успеха, но Фан Сюань-чо сразу вспомнил заявление правительства в прошлую забастовку: „Пойдете на занятия — выдадим деньги“. „Разница невелика“ мелькнуло как тень перед его глазами, и эта тень больше не исчезала, — тогда-то он и объявил публично о своих новых взглядах в аудитории.

Из всего этого видно, что если бы мы, как говорится, подвергли переплавке металл и постарались бы запутать в сети закона невинную теорию о том, что „разница невелика“, разобрав ее досконально, то, конечно, можно было бы признать, что она заключает некое личное и мелкое беспокойство, но никак нельзя было бы сказать, что она была предназначена лишь для оправдания службы Фан Сюань-чо в качестве чиновника. И только он теперь всегда с удовольствием извлекал вопрос о будущих судьбах Китая или о чем-нибудь вроде этого и даже как-то не остерегся и стал считать себя патриотом, болящим о своем отечестве: люди, ведь, всякий раз страдают от отсутствия у них „света самосознания“.

Однако факты, доказывающие, что „разница невелика“, возникли снова. Хотя правительство сначала не позаботилось только об этих, надоевших всем до головной боли, учителях, но потом перестало заботиться и о не питавших к учителям никакого сочувствия чиновниках, — не платило и не платило. Это, наконец, привело к тому, что даже среди порядочных чиновников, прежде презиравших просящих денег учителей, нашлось несколько таких, которые стали смелыми вожаками на собрании, потребовавшем уплаты жалованья; теперь лишь некоторые газеты напечатали осуждающие и высмеивающие этих вожаков статьи. Фан Сюань-чо нимало не был удивлен и нимало не задумался, так как он, ведь, основывался на своей теории „Разница невелика“, и знал, что и это происходит по той причине, что корреспонденты еще не испытывали недостатка в гонораре и наверное, прекрати им правительство или люди богатые свои вспомоществования, они бы тоже открыли собрание.

Если он уже выражал сочувствие требовавшим платы учителям, то, естественно, он присоединился и к требующим жалованья чиновникам, но сам он попрежнему спокойно сидел в своем ямыне и по обыкновению не пошел вместе со всеми просить правительство заплатить свой долг. Что касается подозрения некоторых лиц, что он считал себя одного выше других, то оно было одним недоразумением, не более. Сам он говорил, что с момента появления его на свет, обычно лишь другие обращались к нему с требованием отдачи долга, сам же он никогда не ходил за долгом к другим, поэтому такая просьба „не является тем, что он в силах выполнить хорошо“. Притом он никогда

не осмеливался встречаться с особами, державшими в своих руках экономическую власть. Когда эти люди утратят всю свою власть и силу и, взяв в руки „трактат о Махаяне и началах веры“, займутся изучением истин буддизма, тогда, конечно, с ними „можно с приятностью сблизиться“, но пока они еще на троне, у них всегда вид князя ада Янь вана, — они тогда склонны глядеть на других людей лишь как на своих рабов и полагают, что сами они держат в своих руках право жизни и смерти над вами, такими жалкими и мелкими. Он поэтому и не смел да и не хотел глядеть на них. Такую свою натуру хотя он сам порою тоже ощущал как некое свое возвышение над другими, но вместе с тем сам же и постоянно сомневался: не является ли это у него попросту отсутствием всяких дарований?

И тут и там все требовали жалованья, а сроки так и проходили один за другим, однако Фан Сюань-чо наконец оказался в положении чрезвычайно трудном, как никогда раньше. Поэтому не только маленький слуга, состоявший у них на посылках, или снабжавшие их торговцы, но даже госпожа Фан стала выказывать ему все меньше и меньше знаков уважения. Пусть бы уж она в последнее время не очень-то с ним соглашалась, она еще при этом высказывала свои независимые суждения, и более того, — некоторые бесцеремонные поступки, даже и они стали теперь возможны. Утром четвертого числа пятого месяца по лунному календарю, как только он вернулся домой, она тут же сунула пачку счетов прямо под самый его нос, — этого раньше никогда не бывало.

— Если у нас будет целых сто восемьдесят долларов, тогда только мы сможем расплатиться... Выдали тебе? — сказала она, на этот раз не глядя на него.

— Хм, завтра я уже не чиновник. Чеки на деньги уже получены, однако их не выдали: сказали, что тем, кто не ходил вместе с делегацией требовать деньги лично, не дадут. Я и денег не хочу и служить не буду, — такое безграничное унижение.

Госпожа Фан, видя столь редко встречаемое благородное негодование, немного, было, испугалась, но сразу успокоилась.

— Я так думаю, что лучше уж лично попросить, — ну что это стоит, — сказала она, заглянув ему в лицо.

— Не пойду. Это чиновничье жалованье, не подачка, по правилам оно должно выдаваться через счетный отдел.

— А если не выдадут — что хорошего?.. Ох, забыла тебе вчера сказать: дети говорили о плате за учение, в школе уже требовали несколько раз; говорят, что если мы снова не заплатим...

— Вздор. Отец и служит и учит, а денег не платят, а сын выучил в книгах несколько фраз, так сразу требуют денег.

Она, почувствовав, что он уже не очень считается с самыми основами морали и рассердился так, как-будто самого себя готов был признать директором школы, не противоречила и больше не сказала ни слова.

Оба пообедали молча. Он подумал минуту и вышел, все еще сердясь.

По старому обычаю, в последние годы каждый раз в день, предшествующий летнему солнцестоянию или концу года, он непременно должен был вернуться домой в двенадцать часов ночи; на ходу он уже совал руку за пазуху и громко кричал: „Эй, получи“, при этом он передавал ей пачку новеньких кредиток Китайского банка и банка путей сообщения. Кто бы знал, что в этот четвертый день месяца обычай будет нарушен и что он придет еще до семи часов. Госпожа Фан весьма удивилась, подумала, что он уже отказался от службы, но, разглядев потихоньку его лицо, она так и не обнаружила на нем никакого необычайного печального выражения.

— Что так?.. Так рано, — сказала она, уставив на него глаза.

— Не успели выдать, не получил, банк уже закрыт, нужно ждать до восьмого.

— Лично просить? — спросила она пугливо.

— Ну личная просьба уже отменена, — говорят, что попрежнему будут выдавать через счетный отдел. Однако банк сегодня уже закрыт и не будет работать три дня; придется ждать до утра восьмого числа.

Он сел, опустив глаза в землю, выпил глоток чаю и, снова медленно открыв рот, заговорил:

— К счастью, и в ямыне никакого вопроса нет, — вероятно, восьмого точно будут деньги... Итти же к приятелю, с которым ты раньше в близких отношениях не был, — вот уж, поистине, тяжелое дело. Я после полудня упорно отыскивал Цзинь Юн-шэна. Поговорили немного; он сначала расхвалил, что я не пошел требовать жалованья и не согласился лично про-

силь. Это, ведь, чрезвычайно честно и возвышенно, и человек именно так, как я, и должен поступать. Однако лишь только он узнал, что я собираюсь попросить у него пятьдесят долларов, как сразу изменился, точно я закинул ему в рот полную горсть соли, на лице его сморщилось все, что только могло сморщиться. Он заявил, что и какую-то там плату за квартиру он не собрал и какие-то убытки в своей торговле не возместил и что, в сущности, лично просить деньги перед своими же товарищами по работе мне тоже ничего не стоит, и тотчас выпроводил меня.

— Когда праздник так близок, кто же согласится одолжить тебе денег? — спокойно, без всякого одушевления сказала госпожа Фан.

Фан Сюань-чо опустил голову, — он почувствовал, что ничего удивительного в этом нет, тем более, что и сам он, в сущности, от Цзинь Юн-шэна был очень далек. Затем он вспомнил случай, происшедший с ним в день конца прошлого года: тогда один земляк пришел к нему занять десять долларов, и ясно было, что Фан Сюань-чо в то время получил уже чек на выдачу жалованья из ямыня, но так как он боялся, что этот человек не наверно сможет отдать деньги, то и сделал вид, что он в затруднении. Он сказал, что жалованья в ямыне не получил, что платы в школе тоже не выдавали и что он в самом деле „очень жалеет, но не может помочь“ и отправил этого земляка с пустыми руками. Хотя сам он и не видел, какое он сделал лицо, но чувствовал себя в то время весьма неловко, — губы его едва шевелились, и он покачивал головой.

Однако через некоторое время Фан Сюань-чо вдруг, нерешительно и в большем смущенье, дал все же распоряжение мальчику-слуге, велел ему выйти на улицу и взять в долг кувшин лотосовой настойки. Он знал, что лавочник надеется от многих получить завтра по счетам и, вероятно, не посмеет не отпустить в долг, а если не отпустит, то завтра Фан Сюань-чо не отдаст ему ни одной монетки, — это и будет для него заслуженным наказанием.

Лотосовая настойка была, однако, отпущена, он выпил две чарки, и по его зеленовато-белому лицу разлилась краска. Кончив еду, он немного повеселел. Он закурил папиросу столь известной марки „Ворота Пекина“, взял со стола сборник „Испытания“, разлегся на кровати и собрался читать.

— Как же тогда завтра заплатить лавочникам? — настаивала госпожа Фан, стоя перед кроватью и глядя ему в лицо.

— Лавочникам?.. Вели им притти восьмого во второй половине дня.

— Но я не могу так сказать. Они не поверят и не согласятся.

— Что там не поверят! Они могут пойти и спросить: во всем ямыне еще никто не получал, все ждут восьмого. — Фан Сюань-чо ткнул указательным пальцем в пустоту ширмы и провел им полукруг. Госпожа Фан, с большим вниманием следя за пальцем, заметила и этот полукруг, но увидела только, что муж перевернул страницу сборника „Опыты“. Госпожа Фан, видя его необычайную стойкость и упорство, некоторое время сама не могла открыть рта.

— Я думаю, что так дальше вынести невозможно, в будущем нужно что-нибудь придумать, заняться каким-нибудь другим делом, — сказала она, отыскав, наконец, новый способ приступить к нему.

— Что же придумать? А, по-моему: „Чиновнику — в писарях не служить, военному — пожара не тушить“. Чем же еще другим заняться?

— Да разве ты не писал сочинений для книжной лавки в Шанхае?

— Для книжной лавки в Шанхае? Когда они покупают рукопись, они сочтут все знаки по одному, а пустые места в счет не идут. А ты бы посмотрела на стихи в современном стиле, которые я там написал, сколько там белого. Пожалуй, и вся-то книга стоит не более трехсот долларов. Да еще о плате за приобретение права издания вот уже шесть месяцев нет никаких известий. „Далекая вода не спасает от близкого огня“, — кто же это выдержит?

— Если так, отдал бы в здешнюю редакцию.

— Отдать в редакцию? Так в здешней большой редакции, как мне рассказывал один работающий для нее студент, тысяча знаков стоит несколько долларов. Если там работать с утра до ночи, так еще сможешь ли вас прокормить? Тем более, что у меня и в мыслях не наберется так много сочинений.

— Тогда, что же делать после праздника?

— После праздника? Попрежнему служить чиновником... Придут к тебе завтра лавочники за деньгами, ты скажи им, что восьмого утром — и все.

Он снова принялся за „Опыты“. Госпожа Фан, боясь, что она упустила случай, торопливо бормоча слова и запинаясь, заговорила:

— Я думаю, как пройдет праздник и настанет восьмое число, мы... не лучше ли нам купить выигрышный билет?

— Вот вздор! И скажет такое, как необразованная...

В это время он вдруг вспомнил, что с ним случилось после того, как его выпроводил Цзинь Юн-шэн. Тогда он, не зная что делать, брел через Тао-сян-цунь, — в дверях лавок он видел, висящие вертикально, написанные огромными знаками объявления: „Главный выигрыш — несколько десятков тысяч долларов“. Он вспомнил, как сердце его забилося, кажется, он даже немного замедлил шаги, но верно из-за того, что не мог же он выбросить оставшиеся в кошельке последние шестьдесят центов, он все же храбро и решительно зашагал вдаль. Лицо его сразу изменилось, госпожа Фан подумала, что он сердится на ее необразованность, и поспешно отошла, не окончив своих слов. Фан Сюань-чо, тоже не окончив своих слов, потянулся и стал нараспев читать „Опыты“.

НА ПОКАЗ ТОЛПЕ

На одной из улиц западной части города, в самом лучшем районе, в это время не было ни малейшего шума. Хотя лучи пылавшего огнем солнца еще не падали на землю отвесно, но песок на улице уже, казалось, сиял ярким блеском, — жестокий зной наполнял воздух, и всюду ощущалась гнетущая мощь полного лета. Собаки на улице вытягивали свои языки, и черные вороны на деревьях дышали порывисто, широко раскрывая клювы. Но и в самой природе есть свои изъятия из общих законов, — вдалеке слышался приглушенный звон двух бьющих друг о друга чашек, напоминая людям о терпком и освежающем сливовом отваре и вызывая даже некое ощущение холода. Однако паузы между этими тягучими и монотонными металлическими звуками делали окрестную тишину еще более глубокой.

Слышался только топот ног — это рикши молча мчались вперед, как-будто хотели поскорее выбежать из-под палящего над их головами солнца.

— Горячие пирожки! Только что с жару!..

Толстый мальчишка лет одиннадцати-двенадцати, щуря глаза и искривив рот, кричал перед дверью лавки на краю улицы. Голос его, уже осипший от крика, имел в себе нечто усыпляющее и сообщал снотворную силу долгому летнему дню. Рядом с ним на полуразрушенном старом столике лежало двадцать — тридцать вареных на пару пирожков, совсем остывших.

— А вот! Паровые пирожки, горячие!..

Как брошенный с силой, отскочивший от стены мяч он вдруг перелетел на другую сторону улицы, — в это время рядом с телеграфным столбом, как-раз напротив, лицом к улице остановились два человека. Один из них худой, с желтым лицом, оказался полицейским в светложелтом форменном платье с шашкой на боку, в руке он держал конец веревки, второй

конец был прикреплен к локтям другого человека, одетого в широкий халат из голубой холстины и белую короткую кофту без рукавов. На этом человеке была новая соломенная шапка, поля шапки обвисли со всех сторон и закрывали глаза. Однако толстый мальчишка был низкого роста, и, когда он поднял лицо, чтобы посмотреть, взгляд его встретился с глазами человека в халате, и глаза этого человека, казалось, в свою очередь рассматривали голову ребенка. Мальчишка сразу опустил свои глаза и стал разглядывать белую безрукавку, но заметил на безрукавке только ряды каких-то крупно и мелко написанных знаков.

Через мгновение их уже полукругом обступали зрители. Когда же к зрителям прибавился еще какой-то лысый старик то пустого места в кругу осталось уже немного, и его тотчас заполнил жирный толстяк с голыми руками и красным носом. Этот толстяк был непомерно широк, занял места на двоих, и подошедшие после него могли только кое-как прилаживаться во втором ряду, вытягивая свои головы между шеями стоящих впереди.

Лысый стоял почти лицом к лицу с человеком в белой кофте без рукавов, он согнул поясницу, чтобы разглядеть надпись на безрукавке и начал читать вслух:

„Вэн... все... хм... хм... восемь... но...“

Толстый мальчишка, видя, что белая безрукавка в это самое время рассматривает блестящую плешь, и сам тоже стал разглядывать ее, но увидел только сияние во всю голову да еще оставшийся слева около уха клочок седых волос, кроме этого, он не обнаружил в ней ничего замечательного. Тем временем какая-то нянька из заднего ряда с ребенком на руках, пользуясь случаем, протиснулась вперед; лысый, боясь лишиться своего места, быстро выпрямился. Хотя надпись и не была дочитана до конца, — ему больше ничего не оставалось делать. Он успел только заприметить лицо белой безрукавки: половину носа, выдававшегося из-под полей соломенной шапки, рот и острый подбородок.

И снова, как брошенный с силой, отскочивший от стены мяч, какой-то школьник выбежал вперед и, придерживая одной рукой на голове белую, как снег, холщевую шапочку, стал протискиваться прямо в толпу. Однако, протолкнувшись до третьего или даже четвертого ряда, он натолкнулся на что-то неподвиж-

ное и огромное; когда он поднял голову, он увидел чью-то совершенно голую и очень широкую спину над голубым поясом штанов; по этой спине струился пот. Он понял, что локтями здесь ничего не сделаешь и пройти можно, лишь обойдя этот пояс справа, но к счастью он обнаружил, наконец, пустое место и просвет перед собою. Когда он, тут же пригнув голову, хотел протискаться туда, он услышал одно только слово: „что“, зад ниже пояса подался вперед, пустое место было сразу загорожено, одновременно исчез и просвет.

Школьник, однако, вскоре вылез рядом с шашкой полицейского. Он изумленно огляделся: перед ним везде жались люди, — впереди был человек в белой кофте без рукавов, против него толстый мальчишка с голыми плечами, за ним какой-то толстяк тоже с голыми плечами и красным носом. Школьник теперь молча сообразил, что это и было тем самым массивным препятствием на его пути, подивился и стал с уважением смотреть лишь на красный нос толстяка. Толстый мальчишка уставился в лицо школьника, и тот, не выдержав взгляда, отвернулся в сторону и заметил там лишь чью-то жирную грудь, вокруг сосков ее росло несколько длинных волос.

— В чем это он виноват?

Все с изумлением оглянулись, — это какой-то грубый человек, по виду рабочий, понизив голос, шопотом спрашивал лысого старика.

Лысый не произнес ни звука и только, сердито вскинув глаза, уставился на него. Рабочий под чужим взглядом опустил глаза, когда же через мгновение он снова поднял их, взор лысого все еще был с укоризной обращен на него, да и другие тоже, казалось, с упреком глядели на него.

Смутившись, как будто он сам был в чем-то виноват, рабочий медленно попятился назад и незаметно ушел. Длинный малый с европейским зонтиком под мышкой немедленно заполнил освободившееся место. Лысый, повернув голову, снова разглядывал белую безрукавку.

Длинный малый нагнулся, чтобы рассмотреть получше над обвисшими полями соломенной шапки лицо человека в белой кофте, однако, неизвестно почему вдруг снова выпрямился. Люди, стоявшие за ним, должны были опять из всех сил вытягивать шеи, а какой-то тощий человек при этом еще широко раскрыл свой рот, совершенно как мертвый морской окунь.

Полицейский неожиданно шевельнул ногой, все снова взволновались и быстро перевели взгляд на его ногу; он, однако, вновь встал неподвижно, и тогда взоры толпы опять обратились на человека в белой безрукавке. Длинный вдруг нагнулся, опять хотел заглянуть под нависшие поля соломенной шапки, но, тотчас же и выпрямившись, поднял руку, яростно скребя у себя в затылке.

Лысый почувствовал неудовольствие, так как еще перед этим он ощущал какое-то движение за своей спиной, вслед за тем по соседству с его ухом послышалось ворчанье и чавканье. Когда он, удивленно подняв брови, повернул голову, то заметил черную руку, державшую половину большой лепешки и направлявшую ее в рот человека с кошачьим лицом. Он ничего не сказал и принялся рассматривать новую соломенную шапку белой безрукавки, но вдруг подскочил на шаг вперед. Одновременно из-за его плеча вытянулась необъятной ширины рука — звонкий удар вытянутой пятерни пришелся как-раз по щеке толстого мальчишки.

— Ну, живей! Твою мать... — с этими словами за толстяком показалось круглое, как у Будды, жирное лицо.

Мальчишка отлетел на четыре-пять шагов, но не упал; держась рукой за щеку, он повернулся и хотел юркнуть в проход у ног толстяка. Толстяк быстро встал на свое место, переместив зад, закрыл проход и сердито спросил: „Что?“ Толстый мальчишка заметался на миг, как мышь в мышеловке, но вдруг пустился в сторону школьника и, столкнув его, убежал. Школьник побежал вслед за ним.

— Ох уж, эти мальчишки! — сказали шесть-семь человек.

Когда вновь наступило успокоение, толстяк, опять заглядевшись на лицо белой безрукавки, вдруг заметил, что белая безрукавка глядит на его грудь; он торопливо опустил голову и сам посмотрел на свою грудь, но усмотрел там только каплю пота в глубокой впадине между сосками и тут же стер эту каплю рукой.

Однако кругом как-будто еще не все успокоилось. Державшая ребенка кормилица во время суматохи смотрела по сторонам и не обратила внимания на то, что заколотое на ее голове и похожее на сорочий хвост „украшение из Су-чжоу“ попало в переносицу стоявшему по соседству рикше. Рикша, отмахнувшись, толкнул ребенка; ребенок повернул

тельце и потянулся наружу, крича, что хочет домой. Кормилица сперва, было, двинулась за ним, но тут же и остановилась.

Поставив ребенка против человека в белой безрукавке и указывая на него пальцем, она сказала:

— Ая-я! Смотри-ка, как красиво!..

Из щели вдруг осторожно выглянула голова в шляпе из жесткой соломы, видимо, какого-то студента, с чем-то похожим на семечко тыквы во рту, лязгнула нижней челюстью, перекусила семечко пополам и скрылась. Ее место было тотчас же заполнено лоснившейся от пота замазанной в пыли овальной физиономией.

Длинный, державший заморский зонтик, сердился и, наклонив плечо, хмуро и зло посматривал на мертвого морского окуня за своей спиной. Горячее дыхание, вылетающее из этой огромной пасти, в сущности и так было бы нелегко выдержать, а тут еще в такую жару! Лысый смотрел вверх на четыре белых знака красной доски, прибитой к телеграфному столбу, как-будто чувствовал к ним особый интерес. Толстяк и полицейский, скосив глаза, исследовали похожие на крючки кончики туфель кормилицы.

— Хорошо!

Где-то вдруг радостно в один голос закричали несколько человек. Все поняли, что там тоже начинается какое-то новое событие, и головы всех разом повернулись туда. Даже преступника и сопровождавшего его полицейского охватило некоторое волнение.

— Пирожки, только что с жару! А вот, горячие!.. — на другой стороне улицы, склонив голову и кивая как-будто во сне, протяжно кричал толстый мальчишка. Рикши на улице молча мчались вперед, как-будто хотели поскорее выбежать из-под палящего над их головами солнца. Все уже почти потеряли надежду, но, к счастью, бросая взгляды кругом и внимательно осматривая всю окрестность, присутствовавшие заметили, что домов за десять с лишним по улице показалась, замедляя ход, коляска рикши, — рикша почесывался. Круг сразу распался, все в беспорядке переходило к нему. Толстяк, не пройдя и половины пути, остановился под акацией с края улицы. Длинный, шагая быстрее лысого и человека с овальной физиономией, приблизился к рикше вплотную. Седок в коляске остался неподвижен, рикша уже кончил почесываться и только растирал

свои колени. Пять или шесть человек вокруг, смеясь и хихикая, смотрели на них.

— Кончил? — спросил седок, когда рикша хотел взяться за коляску. Тот лишь кивнул головой и пошел, волоча коляску; все смотрели ему вслед. Сначала еще можно было различить, какая коляска принадлежит упавшему рикше, но вот она смешалась с другими и исчезла из виду.

На улице стало совсем спокойно. Несколько собак, вытянув языки, порывисто втягивают воздух; укрывшийся в тени под акацией толстяк смотрит, как быстро то поднимается, то опадает кожа на их животах.

Кормилица, взяв ребенка, выходит из-под тени крыши. Толстый мальчишка, склонив голову и щури глаза, сонно кричит, растягивая звуки:

— Горячие пирожки. А вот, только что с жару!..

ШАНХАЙСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 1933 ГОДА

Бывает так, что если немедленно не запишешь свои впечатления, то забудешь, привыкнув к ним. В детстве, когда иностранная бумага попадала мне в руки, я сразу чувствовал запах бараньего пота, ударявший в нос, но теперь я привык и уже ничего особенного не чувствую. Когда первый раз видишь кровь, становится не по себе, но после долгого пребывания в районе, где убивают людей, даже зрелище повешенных голов уже нисколько не удивляет, и это бывает потому, что уже привыкаешь, очевидно, что люди — в крайнем случае такие люди, как мы, — если захотят из свободных превратиться в рабов, то наверное это не так уж трудно. Ко всему привыкаешь.

Китай — эта страна, где особенно много событий и перемен, но где люди их не чувствуют. Когда перемен слишком много, они быстро забываются. Требуется действительно сверхчеловеческая память, чтобы запомнить такое обилие событий.

Но, однако, хотя у меня сохранились смутные впечатления о том, что произошло в один из минувших годов, я все же кое-что помню.

Я не знаю, каким образом это случилось, но все действия стали нелегальными, подпольными.

До сих пор слышно было, что революционеры скрываются или действуют в подполье из-за преследования и гнета. Но к 1933 г. начало чувствоваться, что господствующие лица действуют таким же образом. Например, известная личность А. отправляется навестить известную личность Б. Народ всегда считает, что цель поездки — политическая, а в прессе, наоборот, пишут, что поездка предпринята просто с туристскими целями или на минеральные воды. Скажем, — прибыли иностранные дипломаты, и пресса рассказывает читателям, что тут никакого

дипломатического вопроса нет, прибыли они только для того, чтобы осведомиться о здоровье такого-то большого человека. Но тем не менее эти рассказы все же неправдоподобны.

Работник пера особенно чувствителен к делам так наз. литературной арены. Богатых похищают бандиты в качестве заложников для выкупа — это обыкновенное явление в Шанхае, но в последнее время и писатели тоже пропадают неизвестно куда. Некоторые говорят, что они арестованы властями, но люди, близко стоящие к властям, говорят „нет“. Однако все же похоже на то, что они действительно находятся в каких-нибудь учреждениях властей.

Нет списка запрещенных книг и журналов, но когда отправишь их по почте, они часто пропадают неизвестно куда. Если это сочинение Ленина, конечно, ничего удивительного нет, но любой безобидный сборник иногда тоже нельзя читать, например „Воспитание любви“ Амичиса. Но книжные магазины, торгующие книгами, которые могут быть запрещены, все же существуют. Только нередко увесистый железный молоток, пущенный неизвестно откуда, разбивает большую витрину. Это потеря более двухсот долларов. Есть и магазин, у которого разбили два куска витринного стекла. На этот раз ущерб ровно 500 долларов. После этого иногда распространяются листовки, на которых подписи не чьи иные, как такого-то союза или такой-то группы.¹

Из-за преследований революционеры ушли в подполье. Теперь преследователи, угнетатели и их прислужники в свою очередь тоже спрятались в подполье. Это происходит потому, что хотя их демагогия находится под защитой штыков, но на самом деле они никакой уверенности не имеют и сомневаются даже в силе штыка. Эти „литераторы“ распространяют всякую демагогическую болтовню и одновременно думают об изменениях положения в будущем. И они еще глубже сгибаются, в темных уголках приготавливая другое лицо, другое знамя, чтобы еще раз выйти на сцену, когда обстановка будет изменена.

¹ В 1933 г. в Шанхае китайские фашисты „синерубашечники“ часто устраивали разгром книжных магазинов или кинокомпаний. Эти „синерубашечники“ организовали так наз. „Союз истребления коммунистов в области культуры, в области кино“ и т. д.

А деньги великих людей, держащих в своих руках штыки, находятся в иностранных банках, и этот факт еще сильнее поколебал уверенность „литераторов“.

Все это рассчитано на ближайшее будущее. Что же касается далекого будущего, конечно, они желали бы, чтобы в истории сохранились их славные имена. Китай — это не Индия. Китай ценит свою историю. Но все же нет уверенности в этом, и поэтому они думают, что только каким-нибудь хорошим способом можно добиться красивой, приличной биографии. А что касается читателей, то, конечно, нужно, чтобы поверили все, но только не он сам.

Мы с детства уже воспитаны в духе равнодушия к неожиданным событиям, часто меняющимся. Учебником для такого воспитания служил роман „Путешествие на запад“, который полон всякими волшебными приключениями, например, „богакоровы“, „бога-обезьяны“ и др. Как поучает автор романа, среди этих богов есть также деление на добрых и злых, законных и незаконных. Но вообще-то оба лагеря — волшебники. Поэтому нам, людям, об этом можно особенно не беспокоиться. Но, однако, если это не книжная история, а сам лично находишься в такой обстановке, то это немного трудновато. Думаешь, что это купающаяся красавица, а это — паук-оборотень.¹ Думаешь, что это ворота храма, а это — пасть обезьяны.¹ Как нам перенести это? Воспитанные, как мы, в духе „Путешествия на запад“, пожалуй, не испугаются до смерти. Но после этого ко всему будут относиться скептически.

Дипломаты обычно богаты сомнениями. А я чувствую, что большинство китайцев все богато сомнениями. Если поедешь в деревню и спросишь у крестьянина дорогу или его имя, или про урожай, он всегда неохотно скажет правду. Говорить, что ты паук-оборотень, конечно, не приходится. Но ему все же кажется, что ты принесешь какое-то несчастье.

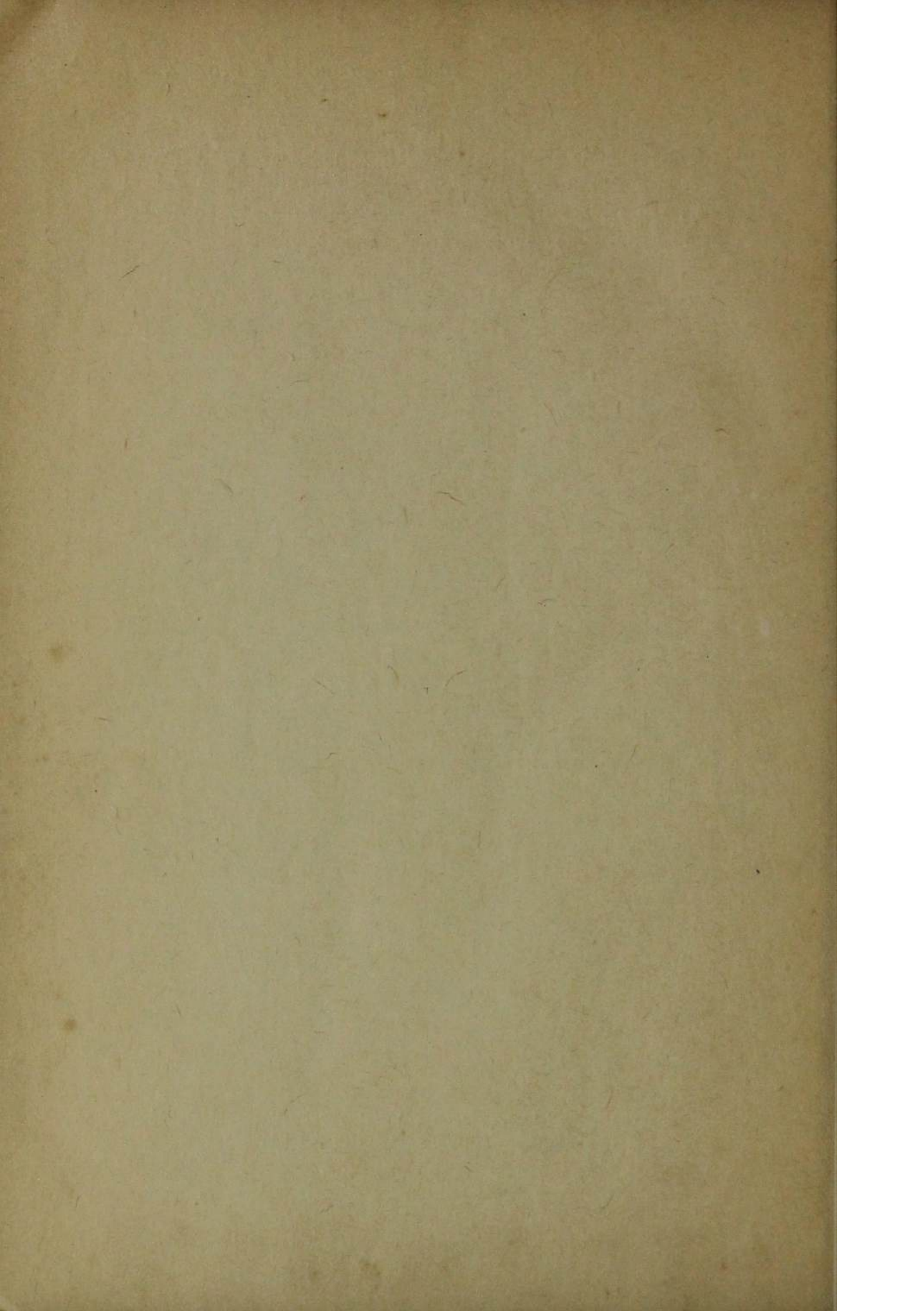
Такое явление заставляет „джентльменов“ негодовать и присваивать народу титул „народа-дурачья“. Но на самом деле, случаи, несущие им несчастье, бывают нередки. По опыту целого года я также стал скептиком, еще более, чем крестьянин. Как только вижу людей с манерами джентльмена, так вот

¹ Персонажи романа „Путешествие на запад“.

и кажется, что он настоящий паук-оборотень. Но к этому тоже можно привыкнуть.

Возникновение „народа-дурачья“ есть результат политики одурачивания народа. Цинь-Ши-хуан¹ уже умер более 2000 лет. В истории не было другого, кто бы применял такую политику. Но наследство его влияния сохранилось так долго, что можно притти в ужас.

¹ Император Цинь-Ши-хуан проводил политику одурачивания народа, сжигая все книги и закапывая живыми в землю всех ученых.



СОДЕРЖАНИЕ

Лу Синь (вступительная статья)	Стр. 5
Траурная песнь.	19

I

Статьи

Великая потеря китайского народа. Чэнь Шао-юй (Ван Мин)	23
Памяти Лу Синя. Э. Сяо	29
Лу Синь и вопросы китайского языка и письменности. А. Г. Шпринцин	53

II

Переводы

Подлинная история А-Кея	77
Из „Диких трав“	122
Побег на луну	123
Моление о счастье	135
Белый блеск	155
Весенний праздник	162
На показ толпе	172
Шанхайские впечатления 1933 года	178

內容目次

魯迅, 他的生平和文學—政論的活動 (前論) 中國文化研究室同人	5
輓歌—石徒金翻譯	19

I

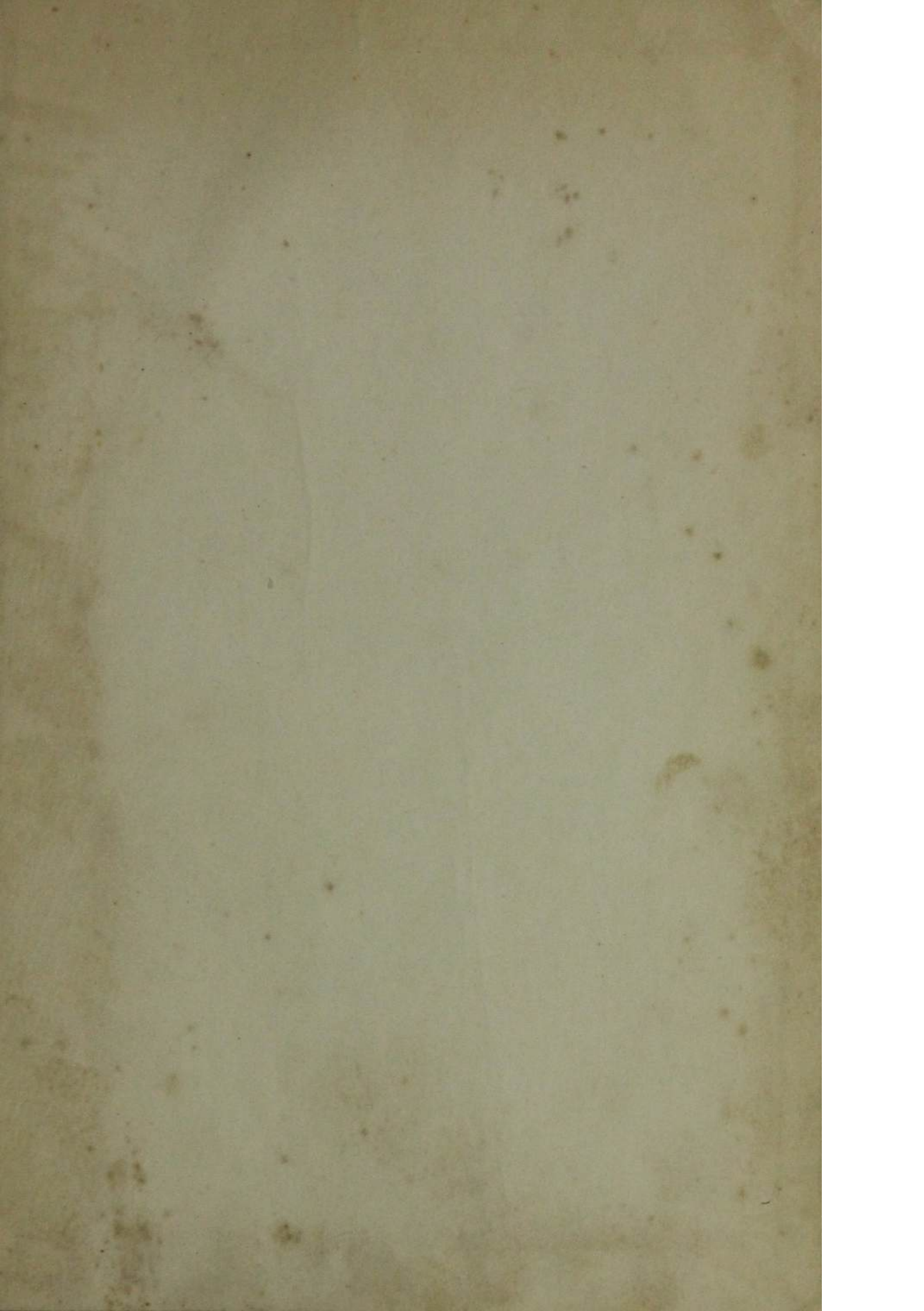
論文

中國人民重大的損失—陳紹禹(王明) ..	23
紀念魯迅—蕭三	29
魯迅和中國語言文字問題—史萍青 ..	53

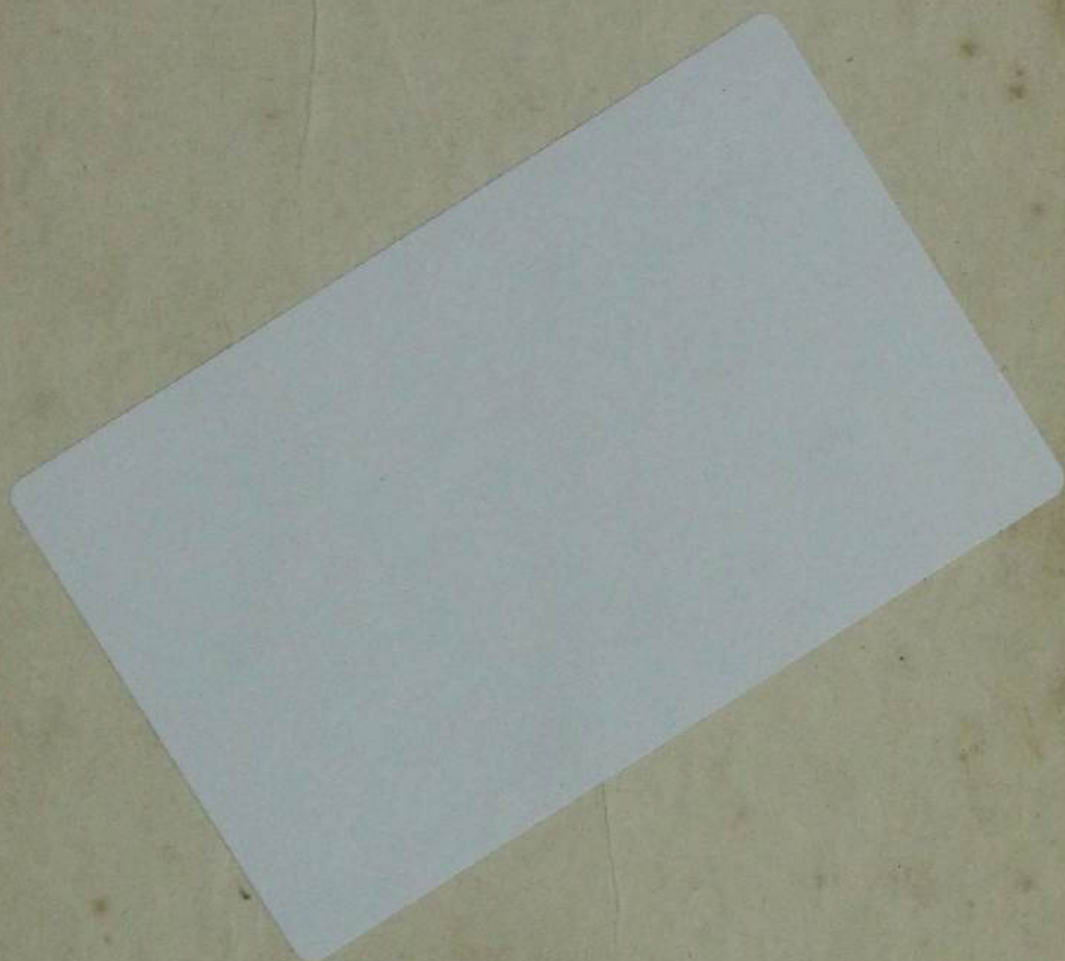
II

翻譯

阿Q正傳—中國文化研究室同人集體譯 ..	77
野草—石徒金譯	122
奔月—同上	123
祝福—同上	135
白光—同上	155
端午節—同上	162
示衆—同上	172
一九三三年上海所感—蕭三譯	178







ЦЕНА 6 РУБ. 50 КОП.

К — 295

